

И. А. БУНИН

ВЕСНОЙ, В ИУДЕЕ

Роза Иерихона



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк

И. А. БУНИН

ВЕСНОЙ, В ИУДЕЕ

РОЗА ИЕРИХОНА

И. А. БУНИН

ВЕСНОЙ, В ИУДЕЕ

Роза Иерихона



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк

1953

Copyright 1952
by IVAN BUNIN

ОТ АВТОРА

Исполняя желание «Издательства имени Чехова», даю некоторые отрывки из своих «Автобиографических заметок».

Я происхожу из старого дворянского рода, о начале которого в «Гербовнике дворянских родов» сказано так:

«Род Буниных идет от Симеона Бунковского, мужа знатного, выехавшего в XV веке из Литвы со своей дружиной на ратную службу к Великому Князю Московскому Василию Васильевичу».

Род наш дал России немало видных деятелей на поприще государственном, воевод, стольников и «в иных чинах», а в области литературной известны Анна Бунина, которую Карамзин называл русской Сафо, и Василий Жуковский, внебрачный сын тульского помещика Афанасия Ивановича Бунина и пленной турчанки Сальхи, ставший, в силу этого, Жуковским по фамилии своего крестного отца, прославившийся больше всего как основоположник той новой русской литературы, первым гением которой был Пушкин, называвший его своим учителем.

По матери я принадлежу к дворянскому роду Чубаровых, тоже весьма старому, лишившемуся, по нашим семейным преданиям, княжеского титула при Петре Великом, который казнил стрелецкого полковника князя Чубарова, бывшего на стороне царевны Софии.

Все предки мои были связаны с народом и с землею, помещиками были и деды и отцы мои по мате-

ри и по отцу, владевшие имениями в средней России, в том плодородном Подстепье, где московские цари, в целях защиты государства от набегов южных татар, создавали заслоны из поселенцев различных русских областей, и где, благодаря этому, образовался богатейший русский язык и откуда вышли чуть ли не все величайшие русские писатели во главе с Толстым.

Я родился 10 октября 1870 года, в Воронеже. Детство и раннюю юность провел в деревне, писать и печататься начал рано. Довольно скоро обратила на меня внимание и критика. Затем мои книги три раза были отмечены высшей наградой Российской Академии Наук — премией имени Пушкина. В 1909 г. эта Академия избрала меня в число двенадцати ее Почетных членов, среди которых был Толстой. Однако известности более или менее широкой я не имел долго, ибо не принадлежал ни к одной литературной школе. Кроме того я мало вращался в литературной среде, много жил в деревне, много путешествовал по России и вне России: в Италии, в Турции, в Греции, в Палестине, в Египте, в Алжирии, в Тунисии, в тропиках. Популярность моя началась с того времени, когда я напечатал свою «Деревню». Это было начало целого ряда моих произведений, резко рисовавших русскую душу, ее светлые и темные, часто трагические основы. В русской критике и среди русской интеллигенции, где, по причине незнания народа или политических соображений, народ почти всегда идеализировался, эти «беспощадные» произведения мои вызвали страстные враждебные отклики. В эти годы я чувствовал, как с каждым днем все более крепнут мои литературные силы. Но тут разразилась война, а затем революция. Я был не из тех, кто был ею застигнут врасплох, для кого ее размеры и зверства были неожиданностью, но все же действительность превзошла все мои ожидания: во что вскоре превратилась русская революция, не пой-

мет никто, ее не видевший. Зрелище это было сплошным ужасом для всякого, кто не утратил образа и подобия Божия, и из России, после захвата власти Лениным, бежали сотни тысяч людей, имевших малейшую возможность бежать. Я покинул Москву 21 мая 1918 года, жил на юге России, переходившем из рук в руки «белых» и «красных», и 26 января 1920 г., испив чашу несказанных душевных страданий, эмигрировал сперва на Балканы, потом во Францию. Во Франции я жил первое время в Париже, с лета 1923 г. переселился в Приморские Альпы, возвращаясь в Париж только на некоторые зимние месяцы. В 1933 г. получил Нобелевскую премию.

В эмиграции мною написано десять новых книг.

Первое собрание моих сочинений было издано в России Марксом. В эмиграции — фирмой «Петрополис». Мне принадлежат переводы в стихах: «Песнь о Гайавате» Лонгфелло, четыре фрагмента из «Золотой легенды» его же, «Годива» Теннисона, три мистерии Байрона (Каин, Манфред, Небо и Земля). Мои оригинальные произведения суть романы, повести, рассказы и стихотворения, вошедшие в издание «Петрополиса», сборник рассказов под общим заглавием «Темные аллеи», книга «Воспоминаний», книга «Избранных стихов» и книга «Освобождение Толстого» (о его жизни и учении).

Первое полное издание «Жизни Арсеньева» опубликовано «Издательством имени Чехова».

Ив. Бунин

Париж, 17 октября 1952 г.

I

ВЕСНОЙ, В ИУДЕЕ

— Эти далекие дни в Иудее, сделавшие меня на всю жизнь хромым, калекой, были в самую счастливую пору моей молодости, — говорил высокий, стройный человек, желтоватый лицом, с карими блестящими глазами и короткими, мелко-курчавыми серебряными волосами, ходивший всегда с костылем по причине не сгибавшейся в колене левой ноги. — Я участвовал тогда в небольшой экспедиции, имевшей целью исследование восточных берегов Мертвого моря, легендарных мест Содомы и Гоморры, жил в Иерусалиме, поджидая своих спутников, задержавшихся в Константинополе, и совершая поездки в одну из бедуинских стоянок по дороге в Иерихон, к шейху Аиду, которого мне рекомендовали иерусалимские археологи и который взялся оборудовать все нужное для нашей экспедиции и лично вести ее. В первый раз я съездил к нему для переговоров с проводником, на другой день он сам приехал ко мне в Иерусалим; потом я стал ездить в его стоянку один, купив у него же чудесную верховую кобылку, — стал ездить даже не в меру часто... Была весна, Иудея тоннула в радостном солнечном блеске, вспоминалась «Песнь Песней»: «Зима уже прошла, цветы показались на земле, время песен настало, голос горлицы слышен, виноградные лозы, расцветая, издают благоухание...» Там, на этом древнем пути к Иерихону, в каменистой Иудейской пустыне, всё, как всегда, было мертво, дико, голо, слепило зноем и песками. Но и там, в эти светоносные весенние дни, все казалось

мне бесконечно радостным, счастливым: в первый раз был я тогда на Востоке, совершенно новый мир видел перед собою, а в этом мире — нечто необыкновенное: племянницу Аида.

Иудейская пустыня — это целая страна, неуклонно спускающаяся до самой Иорданской долины, холмы, перевалы, то каменистые, то песчаные, кое-где поросшие жесткой растительностью, обитаемые только змеями, куропатками, погруженные в вечное молчание. Зимой там, как всюду в Иудее, льют дожди, дуют ледяные ветры; весной, летом, осенью — то же могильное спокойствие, однообразие, но солнечный зной, солнечный сон. В лощинах, где попадают колодцы, видны следы бедуинских стоянок: пепел костров, камни, сложенные кругами или квадратами, на которых укрепляют шатры... А та стоянка, куда я ездил, где шейхом был Аид, являла такую картину: широкий песчаный лог между холмами и в нем небольшой стан шатров из черного войлока, плоских, четырехугольных и довольно мрачных своей чернотой на желтизне песков. Приезжая, я постоянно видел тлеющие кучки кизяка перед некоторыми шатрами, среди шатров — тесноту: всюду собаки, лошади, мулы, козы — до сих пор не понимаю, чем и где все это кормилось, — множество голых, черномазых, курчавых детей, женщины и мужчины, похожие одни на цыган, другие на негров, хотя не толстогубых... И странно было видеть, как тепло, несмотря на зной, были одеты мужчины: кубовая рубаша до колен, ватная куртка, а сверху áба, то есть очень длинная и тяжелая, широкоплечая хламида из пегой шерсти, полосатой в два цвета — черного и белого; на голове кэфийе — желтый с красными полосами платок, распушенный по плечам, висящий вдоль щек и в два раза охваченный на макушке тоже пегим, двуцветным шерстяным жгутом. Все это составляло полную противоположность женской одежде: у женщин на

головы накинута кубовые платки, лица открыты, на теле одна длинная кубовая рубаха с острыми, падающими чуть не до земли рукавами; мужчины обуты в грубые башмаки, подбитые железками, женщины ходят босыми и у всех ступни чудесные, подвижные и от загара уж совсем как уголь. Мужчины курят трубки, женщины тоже...

Когда я во второй раз, без проводника, приехал в стоянку, меня приняли уже как друга. Шатер Аида был самый просторный, и я застал в нем целое собрание пожилых бедуинов, сидевших вокруг черных войлочных стен шатра с поднятыми для входа полами. Аид вышел мне навстречу, сделал поклон и прикладывание правой руки к губам и ко лбу. Войдя в шатер впереди него, я подождал, пока он сел на ковер посреди шатра, потом сделал то, что сделал он мне при встрече, то, что всегда полагается — тот же поклон и прикладывание правой руки к губам и ко лбу, — сделал несколько раз, по числу всех сидящих; потом сел возле Аида и, сидя, опять сделал то же самое; мне, конечно, отвечали тем же. Говорили только мы с хозяином, — кратко и медленно: так тоже полагалось по обычаю да и не очень сведущ был я тогда в разговорном арабском языке; прочие курили и молчали. А за шатром меж тем готовилось мне и гостям угощение. Обычно бедуины едят «хыбыз», — кукурузные лепешки, — вареное пшено с козьим молоком... Но непременно угощение гостя — «харуф»: баран, которого жарят в ямке, вырытой в песке, наваливая на него пласты тлеющего кизяка. После барана угощают кофеем, но всегда без сахара. И вот все сидели и угощались как ни в чем не бывало, хотя в тени войлочного шатра стояла адски горячая духота и смотреть в его широко открытые полы было просто страшно: пески вдали так сверкали, что, казалось, на глазах плавилась. Шейх за каждым словом говорил мне: хаваджа, господин, а я ему: почтен-

ный шейх бѣдави (то есть сын пустыни, бедуин)... Кстати, знаете ли вы, как по-арабски называется Иордан? Очень просто: Шариат, что значит всего на всего водопой.

Аид был лет пятидесяти, невысок, широк в кости, худ и очень крепок; лицо — обожженный кирпич, глаза прозрачные, серые, пронзительные; медная борода с проседью, жесткая, небольшая, подстриженная, и такие же подстриженные усы, — бедуины то и другое всегда подстригают; обут, как все, в толстые подкованные башмаки. Когда он был у меня в Иерусалиме, на поясе у него был кинжал, в руках длинная винтовка.

Я увидел его племянницу в тот самый день, когда сидел у него в шатре уже «как друг»: она прошла мимо шатра, держась прямо, неся на голове большую жестянку с водой, придерживая ее правой рукою. Не знаю, сколько лет ей было, думаю, что не больше восемнадцати, узнал впоследствии одно — четыре года перед тем она была замужем, а в тот год овдовела, не имев детей, и перешла в шатер дяди, будучи сиротой и очень бедной. «Оглянись, оглянись, Суламифь!» подумал я. (Ведь Суламифь была, верно, похожа на нее: «Девы Иерусалимские, черна я и прекрасна»). И, проходя мимо шатра, она слегка повернула голову, повела на меня глазами: глаза эти были необыкновенно темные, таинственные, лицо почти черное, губы лиловые, крупные — в ту минуту они больше всего поразили меня... Впрочем, одни ли они! Поразило все: удивительная рука, обнажившаяся до плеча, державшая на голове жестянку, медленные, извилистые движения тела под длинной кубовой рубахой, полные груди, поднимавшие эту рубаху... И нужно же было случиться так, что вскоре после этого я встретил ее в Иерусалиме у Яффских ворот! Она шла в толпе навстречу мне и на этот раз несла на голове

что-то завернутое в холст. Увидав меня, приостановилась. Я кинулся к ней:

— Ты узнала меня?

Она слегка потрепала свободной левой рукой по плечу меня, усмехнулась:

— Узнала, хаваджа.

— Что это ты несешь?

— Козий сыр несу.

— Кому?

— Всем.

— Значит, продавать? Так неси его ко мне.

— Куда?

— Да вот сюда, в гостиницу...

Я жил как раз у Яффских ворот, в узком высоком доме, слитом с другими домами, по левую сторону той небольшой площади, от которой идет ступенчатая «Улица царя Давида» — темный, крытый где холстами, а где древними каменными сводами ход между такими же древними мастерскими и лавками. И она без всякой робости пошла впереди меня по крутой и тесной каменной лестнице этого дома, слегка откинувшись, свободно напрягая свое извивающееся тело, настолько обнажив правую руку, державшую на голове под кубовым платком круг сыру в холсте, что видны были густые черные волосы ее подмышки. На одном повороте лестницы она приостановилась: там, глубоко внизу за узким окном, виден был древний «Водоем пророка Иезекииля», зеленоватая вода которого лежала, как в колодце, в квадрате соседних сплошных домовых стен с решетчатыми окошечками, — та самая вода, в которой купалась Вирсафия, жена Урия, наготой своей пленившая царя Давида. Приостановясь, она заглянула в окно и, обернувшись, с радостным удивлением взглянула на меня своими удивительными глазами. Я не удержался, поцеловал ее голое предплечье — она взглянула на меня вопрошительно: поцелуи не в обычае у бедуинов. Войдя в

мою комнату, она положила свой сверток на стол и протянула ко мне ладонь правой руки. Я положил в ладонь несколько медных монет, потом, замирая от волнения, вынул и показал ей золотой фунт. Она поняла и опустила ресницы, покорно склонила голову и закрыла глаза внутренним сгибом локтя, навзничь легла на кровать, медленно обнажая ноги, прокопченные солнцем, вскидывая живот призывными толчками...

— Когда опять принесешь сыр? — спросил я, провожая ее через час на лестницу.

Она легонько помотала головой:

— Скоро нельзя.

И показала мне пять пальцев: пять дней.

Недели через две, когда я уезжал от Аида и отъехал уже довольно далеко, сзади меня хлопнул выстрел — и пуля с такой силой ударилась в камень передо мной, что он задымился. Я поднял лошадь вскачь, пригнувшись к седлу, — хлопнул второй выстрел и что-то крепко хлестнуло мне под колено левой ноги. Я скакал до самого Иерусалима, глядя вниз на свой сапог, по которому, пенясь, лилась кровь... Дивлюсь до сих пор, как мог Аид два раза промахнуться. Дивлюсь и тому, откуда он мог узнать, что это я покупал козий сыр у нее.

1946 г.

ПРОРОК ОСИЯ

В Иудее показывали мне немало легендарных мест: вот пещера, где скрывался пророк Иеремия, вот развалины дома, в котором жил пророк Осия...

«Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда: ибо сильно блудодействует земля сия, отступивши от Господа...»

«И пошел он и взял Гомерь, дочь Дивлаима...»

Придержав верховую лошадь, проводник говорил: — Вот здесь жил пророк Осия.

И я смотрел на груды неотесанных серых камней, — развалившийся остов первобытной хижины, проросшей огромным кактусом, под которым торчали кое-где края разбитых черепков... Ужели и впрямь тысячелетия тому назад жили они тут, Осия и Гомерь? Я долго стоял в оцепенении, думая о нем и о ней, глядя на безобразно завалившиеся камни, на толстые, усато-колючие лопасти кактуса, цветшего своим ядовитым желтым цветком...

«Книга Осии» одна из самых невразумительных и наиболее забытая из пророческих книг. Но история его личной жизни, будь она написана, не уступила бы, может быть, ни с чем несравненной «Книге Руфь». Ибо, по преданию, пророка Осию сделало пророком семейное горе: Гомерь была совсем девочка, а он был уже не молод; он был целомудрен, задумчив, грустен, а она, невзирая на свое детство, была безмерная блудница.

ГОСПОДИН ПОРОГОВ

«Илия же, муж косматый, препоясанный рёмнем по чреслам своим, изыде на Кармил и преклонися на землю и положи лице свое между коленами своими и рече отрочищу своему: взыди и воззри на пути морские».

И вот Бог дал мне высокую радость видеть воочию те «пути морские», синей хлябью уходившие в даль от подножий Кармила.

Видел я в те счастливые годы и великий Некрополь Египта, развалины храмов и богов его, их прямые, спокойные позы — знак долголетия, неизменности. Видел на далеком пути к Суану пещеру святого Антония: знойно-сонный Нил в ложе мертвых пустынь, знойно-желтые обрывы скал, отсвечивающих в Ниле, и эту пещеру, — один из несметных египетских могильников. Там с восторгом думал я о том, что в дни Антония волосатые Фивайдские отшельники созывали друг друга на молитву из этих пещер-могильников звуком коровьего рога.

За Суаном видел я малый остров Изида и два храма Ее, дальше — черную Нубию и Пороги нильские. И там думал о первом из Нильских богов, имя коего было:

— Господин Порогов.

Он мне чудился там, в этом страшном царстве египетского Юга, в вечном молчании его светоносных полдней, всюду незримо сущим и живым: диким, нагим, чернокожим исполином, со взором блестящим как черный алмаз, с волосами «иссушенными и закурчавленными Солнцем».

“UN PETIT ACCIDENT”

Зимний парижский закат, огромное панно неба в мутных мазках нежных разноцветных красок над дворцом Палаты, над Сеной, над бальной Площадью Согласия. Вот эти краски блекнут и уже тяжело чернеет дворец Палаты, сказочно встают за ним на алеющей мути заката силуэты дальних зданий и повсюду рассыпаются тонко и остро зеленеющие язычки газа в фисташковой туманности города, на сотни ладов непрерывно звучащего автомобилями, в разные стороны бегущими со своими огоньками в темнеющих сумерках. Вот и совсем стемнело и уже блещет серебристо-зеркальное сияние канделябров Площади, траурно льется в черной вышине грозовая игра невидимой башни Эйфеля и пылает в темноте над Бульварами грубое богатство реклам, огненный Вавилон небесных вывесок, то стеклянно струящихся, то кроваво вспыхивающих в этой черноте. И все множатся и множатся бегущие огни автомобилей, их разноголосно звучащего потока, — стройно правит чья-то незримая рука его оркестром. Но вот будто дрогнула эта рука, — близ Мадлен какой-то затор, свистки, гудки, стесняется, сдвигаясь, лавина машин, замедляющая бег целой части Парижа: кто-то тот, что еще успел затормозить в этой лавине свою быструю каретку, ярко и мягко освещенную внутри, лежит грудью на руле. Он в шелковом белом кашне, в матовом вечернем цилиндре. Молодое, пошло античное лицо его с закрытыми глазами уже похоже на маску.

В А Л Ь П А Х

Влажная, теплая, темная ночь поздней осенью. Поздний час. Селенье в Верхних Альпах, мертвое, давно спящее.

Автомобиль набирает скорость с горизонтально устремленными вперед дымчато-белесыми столпами. Освещаемые ими, мелькают вдоль шоссе кучки щебня, металлически-меловая хвоя чахлого ельника, потом какие-то заброшенные каменные хижины, за ними одинокий фонарь на маленькой площади, самоцветные глаза бессонной кошки, соскочившей с дороги, — и черная фигура размашисто шагающего, развевая подол рясы, молодого кюрэ в больших грубых башмаках... Шагает, длинный, слегка гнутый, склонив голову, одиноко неспящий во всей этой дикой горной глуши в столь поздний час, обреченный прожить в ней всю свою жизнь, — шагает куда, зачем?

Площадь, фонтан, грустный фонарь, словно единственный во всем мире и неизвестно для чего светящий всю долгую осеннюю ночь. Фасад каменной церкви. Старое обнаженное дерево возле фонтана, ворох опавшей, почерневшей, мокрой листвы под ним... За площадью опять тьма, дорога мимо убогого кладбища, кресты которого точно ловят раскинутыми руками бегущие световые полосы автомобиля.

1949 г.

ЛЕГЕНДА

Под орган и пение, — все пели под орган нежное, грустное, умиленное, говорившее: «Хорошо нам с Тобой, Господи!» — под орган и пение вдруг так живо увидел, почувствовал ее, — мой вымысел, неожиданный, внезапный, неведомо откуда взявшийся, как все мои подобные вымыслы, — что вот весь день думаю о ней, живу ее жизнью, ее временем. Она была в те давние дни, что мы зовем древностью, но видела вот это же солнце, что вижу и я сейчас, эту землю, столь любимую мной, этот старый город, этот собор, крест которого все так же, как в древности, плывет в облаках, слышала те же песнопения, что слышал нынче и я. Она была молода, ела, пила, смеялась, болтала с соседками, работала и пела, была девушкой, невестой, женой, матерью... Она умерла рано, как часто умирают милые и веселые женщины, и была отпета в этом соборе, и вот уже несколько веков нет ее в мире, где без нее было столько новых войн, новых пап, королей, солдат, купцов, монахов, рыцарей, меж тем как все лежали и лежали в земле ее пористые кости, ее пустой маленький череп... Сколько их в земле, этих костей, черепов! Все человеческое прошлое, вся людская история — сонмы, легионы умерших! И будет день, когда буду и я, сопричисленный к ним, так же страшен своими костями и гробом воображению живых, как все они, — то несметное полчище, что затопит всю землю в оный Судный час, — и все-таки будут новые живые жить мечтами о нас, умерших, о нашей давней жизни, о нашем древнем времени, что будет казаться им прекрасным и счастливым, — ибо легендарным.

1949 г.

Н О Ч Л Е Г

Это случилось в одной глухой гористой местности на юге Испании.

Была июньская ночь, было полнолуние, небольшая луна стояла в зените, но свет ее, слегка розоватый, как это бывает в жаркие ночи после кратких дневных ливней, столь обычных в пору цветения лилий, все же так ярко озарял перевалы невысоких гор, покрытых низкорослым южным лесом, что глаз ясно различал их до самых горизонтов.

Узкая долина шла между этими перевалами на север. И в тени от их возвышенностей с одной стороны, в мертвой тишине этой пустынной ночи, однообразно шумел горный поток и таинственно плыли и плыли, мерно погасая и мерно вспыхивая то аметистом, то топазом, летучие светляки, люциолы. Противополжные возвышенности отступали от долины и по низменности под ними пролегалла древняя каменная дорога. Столь же древним казался на ней, на этой низменности, и тот каменный городок, куда в этот уже довольно поздний час шагом въехал на гнедом жеребце, припадавшем на переднюю правую ногу, высокий мароканец в широком бурнусе из белой шерсти и в мароканской феске.

Городок казался вымершим, заброшенным. Да он и был таким. Мароканец проехал сперва по тенистой улице, между каменными остовами домов, зиявших черными пустотами на месте окон, с одичавшими садами за ними. Но затем выехал на светлую площадь, на которой был длинный водоем с навесом,

церковь с голубой статуей Мадонны над порталом, несколько домов еще обитаемых, а впереди, уже на выезде, постоялый двор. Там, в нижнем этаже, маленькие окна были освещены, и мароканец, уже дремавший, очнулся и натянул поводья, что заставило хромавшую лошадь бодрей застучать по ухабистым камням площади.

На этот стук вышла на порог постоялого двора маленькая, тощая старуха, которую можно было принять за нищую, выскочила круглоликая девочка лет пятнадцати, с чолкой на лбу, в эспадрильях на босу ногу, в легоньком платьице цвета блеклой глицинии, поднялась лежавшая у порога огромная черная собака с гладкой шерстью и короткими, торчком стоящими ушами. Мароканец спешил к порогу, и собака тотчас вся подалась вперед, сверкнув глазами и словно с омерзением оскалив белые страшные зубы. Мароканец взмахнул плетью, но девочка его предупредила:

— Негра! — звонко крикнула она в испуге, — что с тобой?

И собака, опустив голову, медленно отошла и легла, мордой к стене дома.

Мароканец сказал на дурном испанском языке приветствие и стал спрашивать, есть ли в городе кузнец, — завтра нужно осмотреть копыто лошади, — где можно поставить ее на ночь и найдется ли корм для нее, а для него какой-нибудь ужин? Девочка с живым любопытством смотрела на его большой рост и небольшое, очень смуглое лицо, изъеденное оспой, опасливо косилась на черную собаку, лежавшую смирно, но как будто обиженно, старуха, тугая на ухо, поспешно отвечала крикливым голосом: кузнец есть, работник спит на скотном дворе рядом с домом, но она сейчас его разбудит и отпустит корму для лошади, что же до кушанья, то пусть гость не взыщет:

можно сжарить яичницу с салом, но от ужина осталось только немного холодных бобов да рагу из овощей... И через полчаса, управившись с лошадью при помощи работника, вечно пьяного старика, мароканец уже сидел за столом в кухне, жадно ел и жадно пил желтоватое белое вино.

Дом постоянного двора был старинный. Нижний этаж его делился длинными сенями, в конце которых была крутая лестница в верхний этаж, на две половины: налево просторная, низкая комната с нарами для простого люда, направо такая же просторная, низкая кухня, и вместе с тем столовая, вся по потолку и по стенам густо закопченная дымом, с маленькими и очень глубокими по причине очень толстых стен окнами, с очагом в дальнем углу, с грубыми голыми столами и скамьями возле них, скользкими от времени, с каменным неровным полом. В ней горела керосиновая лампа, свисавшая с потолка на почерневшей железной цепи, пахло топкой и горелым салом, — старуха развела на очаге огонь, разогрела прокисшее рагу и жарила для гостя яичницу, пока он ел холодные бобы, политые уксусом и зеленым оливковым маслом. Он не разделся, не снял бурнуса, сидел, широко расставив ноги, обутые в толстые кожаные башмаки, над которыми были узко схвачены по щиколке широкие штаны из той же белой шерсти. И девочка, помогая старухе и прислуживая ему, то и дело пугалась от его быстрых, внезапных взглядов на нее, от его синеватых белков, выделявшихся на сухом и рябом темном лице с узкими губами. Он и без того был страшен ей. Очень высокий ростом, он был широк от бурнуса и тем меньше казалась его голова в феске. По углам его верхней губы курчавились жесткие черные волосы. Курчавились такие же кое-где и на подбородке. Голова была слегка откинута назад, отчего особенно торчал крупный кадык в оливковой коже. На тонких почти черных пальцах

белели серебряные кольца. Он ел, пил и все время молчал.

Когда старуха, разогрев рагу и сжарив яичницу, утомленно села на скамью возле потухшего очага и крикливо спросила его, откуда и куда он едет, он гортанно кинул в ответ только одно слово:

— Далеко.

Съевши рагу и яичницу, он помотал уже пустым винным кувшином, — в рагу было много красного перца, — старуха кивнула девочке головой и, когда та, схватив кувшин, мелькнула вон из кухни в ее отворенную дверь, в темные сени, где медленно плыли и сказочно вспыхивали светляки, он вынул из-за пазухи пачку папирос, закурил и кинул все также кратко:

— Внучка?

— Племянница, сирота, — стала кричать старуха и пустилась в рассказ о том, что она так любила покойного брата, отца девочки, что ради него осталась в девушках, что это ему принадлежал этот постоянный двор, что его жена умерла уже двенадцать лет тому назад, а он сам восемь и все завещал в пожизненное владение ей, старухе, что дела стали очень плохи в этом совсем опустевшем городке...

Мароканец, затягиваясь папирсом, слушал рассеянно, думая что-то свое. Девочка вбежала с полным кувшином, он, взглянув на нее, так крепко затянулся окурком, что обжег кончики острых черных пальцев, поспешно закурил новую папиросу и раздельно сказал, обращаясь к старухе, глухоту которой уже заметил:

— Мне будет очень приятно, если твоя племянница сама нальет мне вина.

— Это не ее дело, — отрезала старуха, легко переходившая от болтливости к резкой краткости, и стала сердито кричать:

— Уже поздно, допивай вино и иди спать, она сейчас будет стелить тебе постель в верхней комнате.

Девочка оживленно блеснула глазами и, не дожидаясь приказа, опять выскочила вон, быстро затопала по лестнице вверх.

— А вы обе где спите? — спросил мароканец и слегка сдвинул феску с потного лба. — Тоже наверху?

Старуха закричала, что там слишком жарко летом, что когда нет постояльцев, — а их теперь почти никогда нет! — они спят в другой нижней половине дома, — вот тут, напротив, — указала она рукой в сени и опять пустилась в жалобы на плохие дела и на то, что все стало очень дорого и что поэтому поневоле приходится брать дорого и с проезжих...

— Я завтра уеду рано, — сказал мароканец, уже явно не слушая ее. — А утром ты дашь мне только кофе. Значит, ты можешь теперь же счесть, сколько с меня следует, и я сейчас же расплачусь с тобой. — Посмотрим только, где у меня мелкие деньги, — прибавил он и вынул из-под бурнуса мешочек из красной мягкой кожи, развязал, растянул ремешок, который стягивал его отверстие, высыпал на стол кучку золотых монет и сделал вид, что внимательно считает их, а старуха даже привстала со скамьи возле очага, глядя на монеты округлившимися глазами.

Наверху было темно и очень жарко. Девочка отворила дверь в душную, горячую темноту, в которой остро светились щели ставней, закрытых за двумя такими же маленькими, как и внизу, окнами, ловко вильнула в темноте мимо круглого стола посреди комнаты, отворила окно и, толкнув, распахнула ставни на сияющую лунную ночь, на огромное светлое небо с редкими звездами. Стало легче дышать, стал слышен поток в долине. Девочка высунулась из окна, чтобы взглянуть на луну, невидную из комнаты, стоявшую все еще очень высоко, потом взглянула вниз: внизу стояла и, подняв морду, глядела на нее собака, приблудным щенком забежавшая откуда-то лет пять тому назад на постоянный двор, выросшая на ее гла-

зах и привязавшаяся к ней с той преданностью, на которую способны только собаки.

— Негра, — шопотом сказала девочка, — почему ты не спишь?

Собака слабо взвизгнула, мотнув вверх мордой, и кинулась к открытой двери в сени.

— Назад, назад! — поспешным шопотом приказала девочка. — На место!

Собака остановилась и опять подняла морду, сверкнув красным огоньком глаз.

— Что тебе надо? — ласково заговорила девочка, всегда разговаривавшая с ней как с человеком. — Почему ты не спишь, глупая? Это луна так тревожит тебя?

Как бы желая что-то ответить, собака опять потянулась вверх мордой, опять тихо взвизгнула. Девочка пожала плечом. Собака была для нее тоже самым близким, даже единственным близким существом на свете, чувства и помыслы которого казались ей почти всегда понятными. Но что хотела выразить собака сейчас, что ее тревожило нынче, она не понимала и потому только строго погрозила пальцем и опять приказала притворно-сердитым шопотом:

— На место, Негра! Спать!

Собака легла, девочка еще немного постояла у окна, подумала о ней... Возможно, что ее тревожил этот страшный мароканец. Почти всегда встречала она постояльцев двора спокойно, не обращала внимания даже на таких, что с виду казались разбойниками, каторжниками. Но все же случалось, что на некоторых кидалась она почему-то как бешеная, с громовым ревом, и тогда только она одна могла смирить ее. Впрочем могла быть и другая причина ее тревоги, ее раздражения — эта жаркая, без малейшего движения воздуха и такая ослепительная, полнолунная ночь. Хорошо слышно было в необыкновенной тишине этой ночи, как шумел поток в доли-

не, как ходил, топал копытцами козел, живший на скотном дворе, как вдруг кто-то, — не то старый мул постоянного двора, не то жеребец мароканца, — со стуком лягнул его, а он так громко и гадко заблеял, что, казалось, по всему миру раздалось это дьявольское блеяние. И девочка весело отскочила от окна, растворила другое, распахнула и там ставни. Сумрак комнаты стал еще светлее. Кроме стола, в ней стояли у правой от входа стены, изголовьями к ней, три широких кровати, покрытые только грубыми простынями. Девочка откинула простыню на первой от входа кровати, поправила изголовье, вдруг сказочно осветившееся прозрачным, нежным голубоватым светом: это был светильник, севший на ее чолку. Она провела по ней рукой и светильник, мерцая и погасая, поплыл по комнате. Девочка легонько запела и побежала вон.

В кухне во весь свой рост стоял спиной к ней мароканец и что-то негромко, но настойчиво и раздраженно говорил старухе. Старуха отрицательно мотала головой. Мароканец вздернул плечами и с таким злобным выражением лица обернулся к вошедшей девочке, что она отшатнулась,

— Готова постель? — гортанно крикнул он.

— Все готово, — торопливо ответила девочка.

— Но я не знаю, куда мне идти. Проводи меня.

— Я сама провожу тебя, — сердито сказала старуха. — Иди за мной.

Девочка послушала, как медленно топала она по крутой лестнице, как стучал за ней башмаками мароканец, и вышла наружу. Собака, лежавшая у порога, тотчас вскочила, взвилась и, вся дрожа от радости и нежности, лизнула ей в лицо.

— Пошла вон, пошла вон, — зашептала девочка, ласково оттолкнула ее и села на пороге. Собака тоже села на задние лапы, и девочка обняла ее за шею, поцеловала в лоб и стала покачиваться вместе с ней, слушая тяжелые шаги и гортанный говор мароканца

в верхней комнате. Он что-то уже спокойнее говорил старухе, но нельзя было разобрать, что. Наконец он сказал громко:

— Ну, хорошо, хорошо! Только пусть она принесет мне воды для питья на ночь.

И слышались шаги осторожно сходящей по лестнице старухи.

Девочка вошла в сени навстречу ей и твердо сказала:

— Я слышала, что он говорил. Нет, я не пойду к нему. Я его боюсь.

— Глупости, глупости, — закричала старуха. — Ты, значит, думаешь, что я опять сама пойду с моими ногами да еще в темноте и по такой скользкой лестнице? И совсем нечего бояться его. Он только очень глупый и вспыльчивый, но он добрый. Он все говорил мне, что ему жалко тебя, что ты девочка бедная, что никто не возьмет тебя замуж без приданого. Да и правда, какое же у тебя приданое? Мы ведь совсем разорились. Кто теперь у нас останавливается, кроме нищих мужиков!

— Чего ж он так злился, когда я вошла? — спросила девочка.

Старуха смутилась.

— Чего, чего! — забормотала она. — Я сказала ему, чтобы он не вмешивался в чужие дела... Вот он и обиделся...

И сердито закричала:

— Ступай скорей, набери воды и отнеси ему. Он обещал что-нибудь подарить тебе за это. Иди, говорю!

Когда девочка вбежала с полным кувшином в отворенную дверь верхней комнаты, мароканец лежал на кровати уже совсем раздетый: в светлом лунном сумраке пронзительно чернели его птичьи глаза, чернела маленькая коротко стриженная голова, белела длинная рубаха, торчали большие голые ступни. На

столе среди комнаты блестел большой револьвер с барабаном и длинным дулом, на кровати рядом с его кроватью белым бугром была навалена его верхняя одежда... Все это было очень жутко. Девочка с разбегу сунула на стол кувшин и опрометью кинулась назад, но мароканец вскочил и поймал ее за руку.

— Погоди, погоди, — быстро сказал он, потянув ее к кровати, сел, не выпуская ее руки, и зашептал: — Сядь возле меня на минутку, сядь, сядь, послушай... только послушай...

Ошеломленная, девочка покорно села. И он торопливо стал клясться, что влюбился в нее без памяти, что за один ее поцелуй даст ей десять золотых монет... двадцать монет... что у него их целый мешочек...

И, выдернув из-под изголовья мешочек красной кожи, трясущимися руками растянул его, высыпал золотом на постель, бормоча:

— Вот видишь, сколько их у меня... Видишь?

Она отчаянно замотала головой и вскочила с кровати. Но он опять мгновенно поймал ее и, зажав ей рот своей сухой, цепкой рукой, бросил ее на кровать. Она с яростной силой сорвала его руку и пронзительно крикнула:

— Негра!

Он опять стиснул ей рот вместе с носом, стал другой рукой ловить ее заголившиеся ноги, которыми она, брыкаясь, больно била его в живот, но в ту же минуту услышал рев вихрем мчавшейся по лестнице собаки. Вскочив на ноги, он схватил со стола револьвер, но не успел даже курка поймать, мгновенно сбитый с ног на пол. Защищая лицо от пасти собаки, растянувшейся на нем, обдававшей его огненным псиным дыханием, он метнулся, вскинул подбородок — и собака одной мертвой хваткой вырвала ему горло.

23.3.1949

«В ТАКУЮ НОЧЬ...»

Под Одессой, в светлую, теплую ночь конца августа.

Шли, гуляя, по высоким обрывам над морем. Глядя на его широкую сияющую равнину, начал с шутливой важностью декламировать:

Луна блесит. В такую ночь, как эта...

Она взяла его под руку и продолжала:

В такую ночь

Тревожно шла в траве росистой Тизба...

— Позвольте, позвольте: откуда это вы такая ученая, что даже Шекспира знаете?

— Оттуда же, откуда и вы. Не всегда же была добродетельной супругой и обывательницей богоспаемого Конотопа. Киевскую гимназию с золотой медалью кончила.

— Ну, знаете, это так давно было...

— Это что же — милые дерзости? Ошибаетесь — всего двенадцать лет.

Он покосился на ее высокую, прямую фигуру, на оживленное лицо в веснушках:

— Правильно. Я еще позавчера, как только с вами познакомился, дал вам лет тридцать. Но это для хохлушки уже старость.

— Оставьте в покое мою старость. И я вовсе не хохлушка, а казачка. Лучше скажите, кто это Тизба, я забыла.

— А чорт ее знает. Все равно — дальше что-то чудесное, насколько помню.

— Совершенно чудесное:

И тень от льва увидев прежде льва,
Вся ужасом объятая, пустилась
Стремительно бежать...

Он грустно продолжал:

В такую ночь печальная Дидона
Стояла на пустынном берегу...

Она кончила в тон ему:

В такую ночь
Медея шла, в полях собирая травы,
Волшебные, чтоб юность возвратить
Язону старику...

— Господи, как хорошо! Тень от льва, какая-то Медея, какие-то травы волшебные... И никого-то нет, кто б полюбил меня!

— А я-то на что?

— Вы циник и прозаик. А мне нужен поэт. Да и не к чему — две недели моего отпуска вот-вот пролетят стрелой, а там опять Конотоп!

— Не беда. Хорошо только короткое счастье.

Как сладко спит сияние луны
Здесь на скамье!

То есть не на скамье, а на этом обрыве. Посидим немного, Медея.

— Посидим, Язон...

Свернув с тропинки, сели на пересохшую траву над самым обрывом.

— Что хорошо у вас, Дидона, так это ваш грудной, хохлацкий голос. И потом, вы умница, веселая...

Она сняла с голой ноги татарский башмачок, вы-

тряхивая из него пыль, и пошевелила пальцами продолговатой ступни, до половины темной от загара.

— И нога чудесная. Можно поцеловать?

— Ни в коем случае. В такую ночь печальная Медея... В такую ночь... Ну что это за безобразие, даже не дает договорить...

Возвращались медленно, поздно, когда луна стояла уже совсем низко, золотая вода сумрачно светилась у берега внизу, и было так тихо, что слышны были ее полусонные приливы и отливы.

7.4.1949

Т Р И Р У Б Л Я

В тот летний вечер я приехал из деревни в наш уездный город по железной дороге, часу в девятом. Было еще жарко, от туч сумрачно, надвигалась гроза. Когда извозчик помчал меня, подымая пыль, от вокзала по темнеющему полю, сзади вдруг что-то вспыхнуло, дорога впереди на мгновение озарилась золотом, где-то прокатился гром и крупными звездами зашлепал по пыли и пролетке быстрый, редкий дождь, тотчас же прекратившийся. Потом пролетка, сорвавшись под изволок с мягкой дороги, задребезжала по каменному мосту через пересохшую речку. За мостом дико чернели и металлически пахли городские кузни. На дороге в гору горел запыленный керосиновый фонарь...

В гостинице Воробьева, лучшей в городе, мне, как всегда, отвели комнату со спальней за перегородкой. Воздух в этой комнате с двумя затворенными окнами за белыми коленкоровыми занавесками был горяч как в печи. Я приказал коридорному отворить окна настежь, принести самовар и поскорей подошел к окну: в комнате дышать было нечем. За окном уже чернела темнота, в которой то и дело вспыхивали молнии, теперь уже голубые, и катился точно по ухабам гул грома. И, помню, я подумал: до того ничтожный городишко, что даже непонятно, зачем так грозно вспыхивает над ним этот великолепный голубой свет и так величественно грохочет, сотрясается мрачное, невидимое небо. Я пошел за перегородку и, снимая с себя пиджак и развязывая галстук, услышал, как

влетел с самоваром на подносе коридорный и стукнул в круглый стол перед диваном. Я выглянул: кроме самовара, полоскательницы, стакана и тарелки с булкой, на подносе была еще чашка.

— А чашка зачем? — спросил я.

Коридорный ответил, заиграв глазами:

— Там вас одна барышня спрашивает, Борис Петрович.

— Какая барышня?

Коридорный пожал плечом и манерно усмехнулся:

— Понятно, какая. Очень просила впустить, обещала рубль на чай, если хорошо заработает. Видела, как вы подъехали...

— Из уличных, значит?

— Ясное дело. Таких у нас никогда незаметно было: приезжие обыкновенно за барышнями к Анне Матвеевне посылают, а тут вдруг какая-то сама входит... Ростом замечательная и вроде гимназистки.

Я подумал о скучном вечере, который предстоял мне, и сказал:

— Это забавно. Впусти ее.

Коридорный радостно исчез. Я стал заваривать чай, но в дверь тотчас постучали, и я с удивлением увидал, как, не дожидаясь ответа, в комнату развязными шагами больших ног в старых холщевых туфлях вошла рослая девушка в коричневом гимназическом платье и соломенной шляпке с пучком искусственных васильков сбоку.

— Вот шла и забрела на огонек к вам, — с попыткой иронической усмешки сказала она, отводя в сторону темные глаза.

Все это было совсем не похоже на то, что я ожидал, я слегка растерялся и ответил не в меру весело:

— Очень приятно. Снимайте шляпку и присаживайтесь чай пить.

За окнами вспыхнуло уже фиолетово и совсем широко, гром прокатился где-то близко и предостерега-

юще, в комнату пахнуло ветром, и я поспешил затворить окна, обрадовавшись возможности скрыть свое смущение. Когда я обернулся, она сидела на диване, сняв шляпку и закидывая назад стриженные волосы продолговатой загорелой рукой. Волосы у нее были густые, каштановые, лицо несколько широкоскулое, в веснушках, губы полные и сиреневые, глаза темные и серьезные. Я хотел шутливо извиниться, что я без пиджака, но она сухо посмотрела на меня и спросила:

— Сколько вы можете заплатить?

Я опять ответил с деланной беспечностью:

— Успеем еще сговориться! Выпьем прежде чайку.

— Нет, — сказала она, хмурясь, — я должна заранее знать условия. Я меньше трех рублей не беру.

— Три так три, — сказал я с той же глупой беспечностью.

— Вы шутите? — спросила она строго.

— Нисколько, — ответил я, думая: напою ее чаем, дам три рубля и выпровожу с Богом.

Она вздохнула и, закрыв глаза, откинула голову на отвал дивана. Я подумал, глядя на ее бескровные, сиреневые губы, что она, верно, голодна, подал ей чашку чаю и тарелку с булкой, сел на диван и тронул ее за руку:

— Кушайте, пожалуйста.

Она открыла глаза и молча стала пить и есть. Я пристально смотрел на ее загорелые руки и строго опущенные темные ресницы, думая, что дело все больше принимает нелепый оборот, и спросил:

— Вы здешняя?

Она помотала головой, запивая булку:

— Нет, дальняя...

И опять замолчала. Потом стряхнула с колен крошки и вдруг встала, не глядя на меня:

— Я пойду раздеваться.

Это было неожиданное всего, я хотел что-то сказать, но она повелительно перебила меня:

— Затворите дверь на ключ и опустите шторы на окнах.

И пошла за перегородку.

Я с бессознательной покорностью и поспешностью опустил шторы, за которыми продолжали все шире сверкать молнии, будто стараясь поглубже заглянуть в комнату, и все настойчивее катились сотрясающиеся гулы, повернул в прихожей дверной ключ, не понимая, зачем я все это делаю, и уже хотел было войти к ней с притворным смехом, перевести все в шутку или соврать, что у меня страшно разболелась голова, но она громко сказала из-за перегородки:

— Идите...

И я опять бессознательно повиновался, вошел за перегородку и увидел ее уже в постели: она лежала, натянув одеяло до подбородка, дико смотрела на меня совершенно почерневшими глазами и сжимала постукивающие зубы. И в беспамятстве растерянности и страсти я дернул одеяло из ее рук, раскрыв все ее тело в одной коротенькой заношенной сорочке. Она едва успела поймать голой рукой деревянную грушу над изголовьем и потушить свет...

Потом я стоял в темноте возле раскрытого окна, жадно курил, слушал шум отвесного ливня, низвергавшегося в черном мраке на мертвый город вместе с ярким и быстрым трепетом фиолетовых молний и дальними ударами грома, думал, вдыхая дождевую свежесть, смешанную с запахами города, накаленного за день: да, непонятное соединение — это жалкое захолустье и это божественно-грозное, грохочущее и слепящее в ливне величие, — и все больше дивился и ужасался: как же это я все-таки не понял до конца, с кем я имею дело и почему она решилась продать за три рубля свою девственность! Да, девственность! Она окликнула меня:

— Закройте окно, очень шумит, и подите ко мне.

Я вернулся в темноте за перегородку, сел на постель и, найдя и целуя ее руку, стал говорить:

— Простите, простите меня...

Она бесстрастно спросила:

— Вы думали, что я настоящая проститутка, но только очень глупая или сумасшедшая?

Я поспешно ответил:

— Нет, нет, не сумасшедшая, я только думал, что вы еще мало опытны, хотя уже знаете, что некоторые девицы в известных домах надевают гимназическое платье.

— Зачем?

— Чтобы казаться невиннее, привлекательнее.

— Нет, я этого не знала. У меня просто нет другого платья. Я только нынешней весной кончила гимназию. Тут внезапно умер папа, — мама умерла давно, — я из Новочеркасска приехала сюда, думала найти тут через одного нашего родственника работу, остановилась у него, а он стал приставать ко мне, и я ударила его и все ночевала на скамейках в городском саду... Я думала, что умру, когда вошла к вам. А тут еще увидала, что вы хотите как-нибудь отделаться от меня.

— Да, я попал в глупое положение, — сказал я. — Я согласился впустить вас просто так, от скуки, — я с проститутками никогда не имел дела. Я думал, что войдет какая-нибудь самая обыкновенная уличная девочка, и я угощу ее чаем, поболтаю, пошучу с ней, потом просто подарю ей два-три рубля...

— Да, а вместо этого вошла я. И почти до последней минуты старалась держать в голове одно: три рубля, три рубля. А вышло что-то совсем другое. Теперь я уже ничего не понимаю...

Ничего не понимал и я: темнота, шум ливня за окнами, возле меня лежит на постели какая-то новочеркасская гимназистка, которой я до сих пор не знаю

даже имени... потом эти чувства, что с каждой минутой все неудержимее растут во мне к ней... Я с трудом выговорил:

— Чего вы не понимаете?

Она не ответила. Я вдруг зажег свет, — передо мной блеснули ее большие черные глаза, полные слезами. Она порывисто поднялась и, закусив губу, упала головой ко мне на плечо. Я откинул ее голову и стал целовать ее искаженный и мокрый от слез рот, обнимая ее большое тело в спустившейся с плеча заношенной сорочке, с безумием жалости и нежности увидал ее пропыленные смуглые девичьи ступни... Потом номер был полон сквозь спущенные шторы утренним солнцем, а мы все еще сидели и говорили на диване за круглым столом, — она с голоду допивала холодный чай, оставшийся с вечера и доедала булку, — и все целовали друг друга руки.

Она осталась в гостинице, я съездил в деревню и на другой день мы уехали с ней на Минеральные Воды.

Осень мы хотели провести в Москве, но и осень и зиму провели в Ялте — она начала гореть и кашлять, в комнатах у нас запахло креозотом... А весной я схоронил ее.

Ялтинское кладбище на высоком холме. И с него далеко видно море, а из города — кресты и памятники. И среди них, верно, и теперь еще белеет мраморный крест на одной из самых дорогих мне могил. И я уже больше никогда не увижу его — Бог милосердно избавил меня от этого.

1944 г.

ПАМЯТНЫЙ БАЛ

Было на этом рождественском балу в Москве все, что бывает на всех балах, но все мне казалось в тот вечер особенным: это все увеличивающееся к полночи нарядное, возбужденное многолюдство, пьянящий шум движения толпы на парадной лестнице, теснота танцующих в двусветном зале с дробящимися хрусталем люстрами и эти всё покрывающие раскаты духовой музыки, торжествующе гремевшей с хор...

Я долго стоял в толпе у дверей зала, весь сосредоточенный на ожидании часа ее приезда, — она накануне сказала мне, что придет в двенадцать, — и настолько рассеянный, что меня поминутно толкали входящие в залу и с трудом выходящие из его уже горячей духоты. От этого бального зноя и от волнения, с которым я ждал ее, решившись сказать ей наконец что-то последнее, решительное, было и на мне все уже горячее — фрак, жилет, спина рубашки, воротничок, гладко причесанные волосы, — только лоб в поту был холоден как лед, и я сам чувствовал его холод, его кость, даже белизну его, казавшуюся, вероятно, гробовой над резко черными глазами: все было обострено во мне, я уж давно был болен любовью к ней и как-то волшебным образом боялся ее породистого тела, великолепных волос, полных губ, звука голоса, дыхания, боялся, будучи тридцатилетним сильным человеком, только что вышедшим в отставку гвардейским офицером! И вот я вдруг со страхом взглянул на часы, — оказалось ровно двенадцать, — и кинулся вниз по лестнице, навстречу все еще поднимавшейся снизу толпы,

откуда несло и пронизывало морозным холодом всего меня сквозь фрак, легкость и тонкость которого еще так непривычна была всегда для меня после мундира. Сбежал я несмотря на толпу с необыкновенной быстротой и ловкостью и все-таки опоздал: она стояла, среди вновь приехавших и раздевавшихся, уже в одном черном кружевном платье, с обнаженными плечами и накинутом на высокие бальные волосы оренбургском платке, ярко блестя из под него ничего не выражающими глазами. Скинув платок, она молча протянула мне для поцелуя руку в белой и длинной до круглого локтя перчатке. Я от страха едва коснулся губами перчатки, она, придерживая шлейф, молча взяла меня под руку. Так молча и поднялись мы по лестнице, я вел ее как что-то священное. Наконец за чем-то спросил пересохшими губами:

— Вы нынче танцуете?

Она ответила, прищуриваясь, глядя на головы поднимавшихся впереди, не в меру кратко:

— Не танцую.

И, пройдя в зал, осталась стоять у дверей. Она продолжала молчать, точно меня и не было, но я уже больше не владел собой: боясь, что потом может и не представиться удобной минуты, вдруг стал говорить все то, что весь вечер готовился сказать, говорить горячо, настойчиво, но бормоча, делая безразличное лицо, чтобы никто не заметил этой горячности. И она, к великой моей радости, слушала внимательно, не прерывая меня, смотря на танцующих, мерно махая веером из дымчатых страусовых перьев.

— Я знаю, — говорил я с безразличным лицом, но все горячее и поспешнее, мучительно сдерживая дрожащую на губах улыбку счастья от того, что она так терпеливо слушает меня, должно быть только делая вид, что занята танцующими, — я знаю, — говорил я, уже не веря своим словам, — что я не смею ни на что

надеяться... Вот вы нынче даже не позволили мне захватить за вами...

Тут она, все также не глядя на меня, безразлично заметила:

— Мой кучер прекрасно знает дорогу сюда.

Но я принял это за шутку и продолжал еще настойчивей:

— Да, я ничего не жду, с меня довольно и того, что вот я стою возле вас и имею жалкое счастье высказать вам наконец полностью все то, что я так долго не договаривал... Уж одно это, — бормотал я, вытирая платком ледяной лоб и не сводя глаз с ее длинной ресницы в пылинках пудры и с разреза губ, — уже только это одно...

Извиваясь среди танцующих, к нам подбежала веселая рыжая барышня с последним букетиком ландышей в плетеной корзиночке. Я бессмысленно взглянул на ее обрызганное веснушками личико и торопливо положил в корзиночку пятьдесят рублей, не взяв букетика. Барышня мило улыбнулась, присела и побежала дальше. Я хотел продолжать, но не успел, — заговорила и она наконец:

— Как надоела мне эта фарфоровая дура, ни один бал без нее не обходится, — сказала она, продолжая махать на меня веером теплый воздух и глядя на белокурую красавицу, приближавшуюся к нам вместе с прочими танцующими в паре с офицером грузином. — Жаль, что вы не взяли ландышей, я бы сохранила их на память о нынешнем бале... Впрочем он и так будет памятен мне.

Я с трудом передохнул от восторга и, опустив глаза, с трудом вымолвил:

— Памятен?

Она слегка повернула ко мне голову:

— Да. Я уже не раз слышала ваши признания. Но нынче вы имели, как вы выразились, «жалкое счастье» высказаться наконец «полностью» относительно своих чувств ко мне. Так вот нынешний бал будет мне памятен тем, что я тоже уже «полностью» возненавидела вас с вашей восторженной любовью. Казалось бы, что может быть трогательнее, прекраснее такой любви! Но что может быть несноснее, нестерпимей ее, когда не любишь сама? Мне кажется, что с нынешнего вечера я не в силах буду даже просто видеть вас возле себя. Вы подозревали, что я в кого-то влюблена и потому так «холодна и безжалостна» к вам. Да, я влюблена — и знаете в кого? В моего столь презираемого вами супруга. Подумать только! Ровно вдвое старше меня, до сих пор первый пьяница во всем полку, вечно весь багровый от хмеля, груб как унтер, днюет и ночует у какой-то распутной венгерки, а вот поди ж ты! Влюблена!

Я с головокружением поклонился ей и медленно выбрался из толпы на площадку лестницы, думая, что уже ничего, кроме самоубийства, не остается мне после такого позора. Но там, в толпе, я должен был обойти какого-то неподвижно стоявшего на расставленных ногах, заложившего руки с шапокляком за спину, немолодого господина, грубого и крупного, в просторном поношенном фраке, в прическе а ля мужик. И в ту же минуту прошла мимо него с раскрытым перламутровым веером в слегка дрожавшей руке тонкая, высокая девушка в бледнорозовом газовом платье, невнятно, мертво, закрываясь веером, выговорила: «завтра, в четыре» и, ало покраснев, скрылась в толпе. Он, все так же твердо стоя на расставленных ногах и помахивая за спиной шапокляком, с самодовольной усмешкой прикрыл глаза в знак того, что слышал ее. Я дерзко шагнул к нему и отдельно сказал, как заправский скандалист:

— Милостивый государь, вы мне ужасно не нравитесь.

Он удивленно поднял брови:

— Что с вами? И с кем я имею честь...

Я запальчиво перебил его:

— Я сейчас поставлю вас в известность, кто я, а пока скажу, что вы хам и что я вызываю вас.

Он сдвинул ноги, выпрямился:

— Вы пьяны? Вы сумасшедший?

Нас уже обступили. Я бросил в лицо ему свою визитную карточку и, задыхаясь, с торжественной театральностью сумасшедшего, пошел по лестнице вниз...

Вызова с его стороны, конечно, не последовало.

29.4.1944

А Л У П К А

Солнце только что скрылось, еще светло, но в жарком меркнувшем воздухе, в синеватой неопределенности неба, над кипарисами Алупки, уже реют и дрожат чуть видные, как паутина, летучие мыши. Закрывая на ходу плоский цветной зонтик, которым все вертела на плече, спускаясь по пыльному переулку к пансиону, быстро вошла в жидкий садик, усыпанный галькой, и взбегает на террасу, где доктор один полулежит в качалке в ожидании обеда: в пансионе еще пусто, кто в парке, кто на берегу под парком, кто встречает вечерний почтовый дилижанс из Ялты.

— Слышал? — возбужденно говорит она, входя. — В Ялту приехали артисты Малого театра! Не играть, конечно, а так... Чуть не вся труппа, Лешковская с Южиным...

— От кого же я мог это слышать? Ты, конечно, как всегда, почему-то бегала встречать дилижанс?

— Да, и встретила доктора Никитина, его вызвали к старухе Крестовниковой, он мне и рассказал это...

— Очень рад, только не понимаю, почему ты объявляешь мне об этом приезде так, словно случилось не весть что? Вбегаешь вне себя, вся красная, в поту, завитушки на лбу растрепаны...

— Будешь вне себя, когда в этой милой Алупке день и ночь задыхаешься от жары и духоты! Но дело вовсе не в моей наружности, а в том, что я хотела тебе сказать, что ты как хочешь, а я больше не могу сидеть тут!

— А где же ты хочешь сидеть? В Ялте?

— Да, хотя бы в Ялте.

— И все потому, что туда приехали артисты Малого театра? Да ты что — из Чухломы, что-ли? И почему вдруг стала такой театралкой? В Москве бываешь в этом Малом театре раз в два года, а тут вдруг так поражена этим приездом!

— Ничем я не поражена, но как ты наконец не понимаешь...

— Что не понимаешь?

— То, что мне твоя Алупка и этот «семейный» пансион осточертели! В Ялте...

— В Ялте, разумеется, совсем не то! В Ялте проводники, набережная, а теперь еще хромая Лешковская с Южиным. Какое же сравнение! Но мы, мой друг, приехали в Крым не ради проводников, а ради отдыха.

— Мы, мы! Слышать не могу этого мы! Мы ведь все-таки не сиамские близнецы, Алексей Николаевич!

Доктор приподнимается и садится, удивленно глядя на нее, в первый раз заметив вдруг, до чего она изменилась за последнее время и особенно за эти три недели в Крыму, чуть не с утра до вечера лежа на гальке у моря под парком и по пяти раз в день купаясь: загорелое лицо окрепло и округлилось, глаза налились блеском, плечи, груди, бедра расширились, что особенно явно под легким платьем из сарпинки, вся горячо пахнет этой сарпинкой и загорелым телом, обнаженные коричневые круглые руки точно отполированы... Доктор пожимает плечами, стараясь быть спокойным и строгим:

— При чем тут сиамские близнецы?

— При том, что я прекрасно предвидела всю эту сцену и дорогой твердо решила переехать одна, если ты не переедешь. И перееду, а ты как знаешь.

— Постой. Да ты в своем уме? Что с тобою? Внезапно острое помешательство? «Приехали арти-

сты Малого театра, переезжаю в Ялту, а ты как знаешь...»

— Разумеется, как знаешь, раз ты...

— Что я?

— Раз ты вот настолько не думаешь обо мне! Ты, за все пять лет нашего милого супружества, которое все величают «идеальным»...

— Помилуй Бог, какая адская ирония!

— Да, для тебя оно, разумеется, «идеальное»! Сиди себе в кабинете да раздевай своих несчастных идиотов — вздохните — не дышите, вздохните — не дышите, а я... И вот-вот опять Мерзляковский переулочек и опять ты будешь месяца два рассказывать всем знакомым, как «чудно» отдохнули «мы» летом! В прошлом году расписывал Волгу, в позапрошлом Евпаторию, в нынешнем будешь расписывать Алупку... Довольно с меня этих отдыхов!

— Да ты что? Сбежать от меня решила?

— Я ничего не решила, только я больше не могу! Не могу и не могу!

— Все это прекрасно, но, во первых, надо решить, куда именно и с кем и с чем бежать, а во вторых, все-таки не кричать на весь дом.

— Хочу и кричу! И буду кричать! Нарочно буду!

В их комнате на втором этаже, очень тесной от двух кроватей, двух кресел, гардероба со скрипучими, разохшимися дверками, умывальника и чемоданов под вешалкой, воздух горяч и неподвижен, в окно, открытое на совсем уже померкшее небо, нет ни малейшего дуновения. Вбежав туда, она падает в кресло, на спинку которого брошен купальный халат, еще не высохший, противно пахнущий теплой сыростью, и с бьющимся сердцем, зло и решительно смотрит перед собой, не выпуская из рук зонтика.

ПОЛУДЕННЫЙ ЖАР

Жаркий день, вся дворня на покосе, усадьба кажется брошенной, — во всей усадьбе только я и дурочка Глаша. Она гостит у нас, теперь сидит под открытым окном людской, обращенной задом к солнцу, темной, полной мух и оттого, что в ней пекли утром хлебы, очень жаркой. Сидит и что-то говорит: часто сидит так до самого вечера и все говорит, вслух думает. Я вышел из дому, — увидав меня, кличет к себе:

— Папаша, поди-ка ко мне. Поди, не бойся.

Я вхожу в тень избы и сажусь под окном на скамейку.

— Чего ж мне бояться, Глаша, я не боюсь.

Она с ласковым сожалением качает головой:

— У, дурак, дурак. Как же не бояться? Я глупая, убогая, а спокон веку боюсь. Все думаю, все боюсь. Прежде лежала сколько лет, а он меня в тележке возил...

— Кто возил?

— Оська возил, сирота, отрок Божий, первый вор был на всех ярманках, потом, сказывали, в остроге в Задонске сидел. Я, бывало, лежу, а он меня везет, по всем деревням впричет кричит, милостинку на меня просит, а я лежу, я, мол, убогая, безногая. Мне не Бог ножки отнял, я сама отлежала их, сама в тележку легла, а то кто ж бы мне дал, кто милостинку сотворил? Никто бы не дал, дур и так на свете много, по-

бирушек, папаша, много, а народ, он жадный. Они все, мужики-то, жадные, всякому жалко с копейкой расставаться, а корку хлебную, горбушку он ее блажей цыпленку размочит, цыпленка своего напихивает. Я и лежу, а он кричит, по полям, по деревням меня везет, по ярманкам. По ярманкам хорошо бывает, народ гамит, карусели летят, музыка, колокольчики, по церквам трезвон, не то что в поле, там-то и есть самый страх и жар.

— Какой страх и жар?

— У, дурак, дурак. Какой же бывает жар? Полуденный жар, в какой Еву полуденный бес искушил. А как бросил Оська меня возить и тележку себе взял, я сама, папаша, стала просить, сама стала ходить, меня теперь все знают, все почитают, на станцию приду, жандар честь отдает, буфетчик чаем угощает. А по полям, по степям, нету там, папаша, живой души, одни видения.

— Что ж тебе там видится?

Задумалась, стала говорить, глядя в даль:

— В церковь венчать привезли меня, папаша. Жених высокий, лютый, а красивый, загляденье. Загляденье, до чего хорош! Свечи зажгли, венцы на нас надели. Народ стоит, а никто ничего не говорит. Боятся, папаша. Боятся. А на мне будто портки черные, пинжак черный, я и рада, хорошая стою. Рада, веселая...

— Ну и что ж? Перевенчали вас, а потом?

Она очнулась от задумчивости:

— У, дурак! Нешто можно спрашивать? Он блуд со мной сотворил, а у меня сердце зашлось, я аж петухом закричала от той ужаси, проснулась и вся трясусь, плачу, рыдаю, а на меня ангелы крыльями дуют

со всех сторон, ничего не видать, темь, погреб, а я вижу, как они белеются, вихрем вьются округ меня... У, дурак, дурак! — ласково и восторженно сказала она грубым голосом и захохотала диким, блаженным хохотом. — А ты говоришь: не бояться! Как же не бояться?

Успокоившись, опять заговорила задумчиво:

— Да, вот он Преподобный был, а как погибал! Он святой был, Серафимом звали, ангелом, а сперва простой будильщик был. Была там обитель в лесу, а он монахов будил: «Вставайте, вставайте, душу не проспите!» По ночам их будил. Семь лет будил, послушанье нес, потом дьяконом сделали. А то все будил: вставайте, мол, — бесы на вас по кельям глядят, глазами горят, ды́хают, кáхают. А как дьяконом стал, еще пуще страсти натерпелся. Выйдет, выйдет к народу, поднимет орать, хочет возгласить, ан нет, ничего не может закричать. Народ стоит, ничего не видит, а он видит, и то в жар его кинет, то в чистый мороз: то красный как кумач делается, то как снег белый. Да. Народ молчит и он молчит, только одно видит: по всей церкви ангелы служат, по воздуху плывут, кадилами, дымом машут, грозой сверкают, ризы белые, крылья белые... Я тогда у батюшки гостила, он все это мне сказывал, по книжке читал. Как пьяный, так читать. Без умолку читал!

— У какого батюшки?

— У, как же не знаешь? У отца Федора, Успенье Пресвятой Богородицы. Церковь Успенья Царицы Небесной. И Она, милый, тоже померла! Померла, папаша! И у него сын помер, от чахотки погиб, отец пьяница и он пьяница был. Вошли, а он на диване лежит, закатил глаза, за рубашку, за грудь себе сгреб и только пену с губ пускает. Матушка вошла, поглядела — дышит, мол, ай уж нет? Нет, папаша, ничего

не дышит! Царство Небесное! Заплакала, залилась, чего ж вы, кричит, в больницу не съездили! А батюшка на пасеке был, рой пчелиный огребал, а он один в горнице лежал на этом диване... Потом раздели всего, на пол стащили, пришли старухи с горячей водой, с ведрами, стали его мыть, а он лежит, папаша, белый весь, как пшеничная мука белый, голый. Потом рубашку на него крахмальную надели, на стол в ней положили, совсем новая была. Потом стали нищим его добро раздавать, мне его прежнюю подарили, с косым воротом, а я взяла да ночью в бурьян бросила, он помер в ней, как же мне ее носить? А гроб шибко несли! Батюшка спешит, кадилом взвивает, а сам плачет, рыдает: Коля мой, Коля, что ж ты надо мной наделал! Как же я тебя своими руками хоронить буду? Лучше сана лишусь, а сам не могу! А я, убогая, глупая, свое думаю, свое вспоминаю, как меня хоронили.

— Как это тебя хоронили, Глаша? Что это ты говоришь?

— Хоронили, милый, хоронили. Все архиереи собрались, все священники. Везет меня Оська в степи, а тут рабочая пора вот-вот, все косить пойдут, все ржи сухие, желтые, горячие — гляну, гляну, а им конца-краю нету, желтые, аж глаза ломит, жар огнем душит, и нигде-то ни души живой, ни голоса, будто все на свете смолкли, померли! Хлеб стоит, горит, грач, и тот боком на дороге сидит, бельма завел, закатил, огнем во весь зоб дышит. А я лежу, закрыла глаза и лежу, меня мухи, оводы едят, а он, Оська, как пьяный идет, качается, босиком в пыли месит, нагнулся вперед, тащит меня, вся спина, вся рубаха от мух черная, пьют его пот... Он бы давно ограбил, убил меня в этой степи, в этот жар и зной, сам мне это говорил, со слюнями смеялся, дурак, и никто бы на свете ничего не знал, не слышал, она, эта степь, до самого моря идет, да что ж он мог ограбить у меня! Один дерю-

жный мешок с корками, с печеными яйцами, с медными копейками. Что с меня, милый, взять? Я и задремала, только слышу вдруг — идут и поют, идут на нас по этим желтым ржам и все громче поют, все в ризах в золотых, в черных и серебряных... Я глянула, а они прямо на нас идут, хороните, поют, рабу Божию во блаженном успении, машут на меня горячим ладаном! Закричал тут Оська дурак не своим голосом и помчал во весь дух куда глаза глядят — тем мы, папаша, и спаслись, тем только и спаслись, милый. А то бы давно мои косточки в земле гнили!

1947 г.

ЛОВЧИИ

В людской избе, на большой печи, в сумраке, зиму и лето лежал Леонтий, длинный и невероятно худой, заросший седой щетиной бороды, бывший бабушкин повар. В летние дни в людской часто бывало пусто, один Леонтий лежал на печи. На столе были прикрыты ряднѳм черные хлебы. Я приходил, садился на лавку, отламывал корку, солил и ел. А Леонтий лежал и говорил:

— Да, барчук, не всегда я так лежал, мусором голову пересыпал. Не всегда и поваром был. Я у вашего дедушки по бабушке, у Петра Алексеича Чамадунова, ловчим был, стаей правил.

— Стаей собак?

— Так точно. Не телят же! Был сперва простым доезжачим, борзых, значит, вел, а вследствие времени ловчим стал. А ведь это вам не книжку прочесть, тут даже простого русака оследить, и то надо ум иметь. Вот хоть взять охотничий подклик — тут не одно хайло нужно! Тут кураж нужен. А я, бывало, как наддам: «О, гой!», так весь лес дрогнет! Опричь того был дедушка ваш охотник смертный, завзятый, — ему угодить не всякий мог. Была у него заветная наложница, девка именем Малашка, — я потом расскажу вам как-нибудь, как я из-за нее погиб, попал под страшный сюркуп... Уж как он людей своих терзал, до чего неприступен был! А эта Малашка просто веревки из него вила, он за нежное ее притворство на все был готов. «Она мне, Леонтий, милые всех на свете!» Так прямо и говаривал мне. Я ему в ответ, что не может того быть, что, мол, это вы только замысловато шу-

тить изволите, а он мне еще тверже того: «Нет, не шу-чу и ты изволь слушать меня с примечанием». Ну, а я все противных мыслей был, все думал про себя: погодите, погодите, сударь, покажет она вам себя в некий срок! Ведь на сусле пива не узнаешь, ведь сейчас-то она пока девчонка, а вот как станет в летá входить... Они же между тем в даль свои мечты не простирали, — мол, когда-то еще это будет! Мы такое заведение имели, после осенних охот был у нас завсегда большой публичный стол, так что ж вы думаете? — они эту девку с гостями сажали! Ну, а после Малашки нащел охоты с ума сходили, и охоту держали мы истинно знаменитую. Так собаку любить, как дедушка любили, никто во вселенной не мог. Они всякую охоту обожали, — *и ла шас о леврье и о шьен куран*, — иной раз интересовались даже и мокрой, а весной по брызгám...

— Какой мокрой?

— А всякой, значит, болотной. И каких только собак у нас не было! Были понтеры, были сетеры, были лягавые, а борзым и гончим и счет потеряешь — их за усадьбой целый стан у нас стоял. Ну и я гончих и борзых любил — может, не меньше дедушки. Из того и холостой на век остался, не увлекался самими первыми красавицами. Да и некогда было, круглый год только стая на уме. Да и что эти красавицы, барчук! Все, как говорится, на один и тот же вкус, подобно курице, — что черный, что белый хохол. Все эти понтеры, сетеры, лягавые мне были не по чем, ружья я и не знал. Бывало, спросит дедушка: «Ну как, Леонтий, на твой взгляд моя новая лягавая?» Хороша, скажешь, сударь. Стоит мертво, подает отлично. Они опять изволят ко мне приставать: «Нет, ты скажи мне пожалуй хорошенько, что ты точно думаешь?» Да что-ж, говорю, могу я точно думать? Не возьмите во гнев: не могу я ни понтера, ни сетера, ни лягавую любить, из какого гнезда они ни будь.

— Как из гнезда?

— А это всегда так, сударь, говорилось: из дурного гнезда собака, из хорошего гнезда собака... из какой фамилии, значит.

— А как еще говорилось?

— Да мало-ли как. Теперь так уж не могут говорить.

— Ну скажи что-нибудь.

— Да что ж не к делу говорить? Это подобно тому, как песню петь не кстати. Вот была, к примеру сказать, самая главная песня у нас — лучше этой песни, на мой сгад, на свете нет, а петь ее надо было тоже ко времени. Эта была самая наша задушевная: «Выпьем, други, на крови!» Эту песню, сударь, пели на добыче:

Выпьем, други, на крови!

И вот уж истинно картина была: лежит на поляне взятый зверь, кровавой, гордый, уж с пленкой на глазах, с закушенным языком, а округ него целой ассамблеей охотники — вдаришь в рог и грянут все хором: «Выпьем, други на крови!» И вот какое дивное дело бывало почесть всегда: как нарочно о ту пору солнце выглядывало! То все дождь сеет, а тут как раз стихнет, разойдется мга, засинеет в небе и солнце глянет: весь мокрый лес озарит, согреет, сделает такой апофеоз — во век не забудешь! А дедушка стоят во всем своем охотничком наряде замечательнее всех, с чаркой в руке, а возле них — их самый главный фаворит Победим...

— Это его гончий кобель?

— Так точно-с.

— Так ведь ты как-то говорил, что Победим уж старый был?

— Что ж что старый! Прямо герой был даже и в ту пору! Он раз в одно поле...

— Это значит сразу?

— Никак нет. За один день, лучше сказать, за одно полевание. Он за этот день взял целых пятерых лобанов! Был из себя приземистый, брудастый, иначе сказать, уса́тый, и мастью муругий, — вроде как черный, только с красниной, — лапы стойкие, в локотках с кривизной немножко, а уж про грудь и говорить нечего: Еруслан! И весь в цапинах и хватках — волки не раз пятнали. Мы его на Бушуя у князя выменяли, молодым еще, он тогда еще не опсовел как следует, а уж видно было, что из него будет. А Бушуй, хоть и знаменит был, да уж стал на балалайке поигрывать...

— Как это на балалайке?

— Паршиветь с годами стал. Сядет — и ну лапой бить по бокам, по ушам!

— А что значит не опсовел?

— А это всегда так говорится про молодого кобеля, — значит, еще не стал настоящим псом. Да и про суку тоже: молода, мол, еще не опсовела. Эта как про зверя говорят, про волка: прибыло́й, значит, молодой, а если старый, то это в просторечии лобан, ма́тёрый. Если же взять, к примеру, зайца, так он бывает, вопервых, февральский, настовик...

— Почему настовик?

— По той причине, что о ту пору снег уж крепко занастел, коркой, настом покрылся, а он любит по этому насту жировать, иначе сказать, играть, петли делать. Вон лисица, та любит мышковать, мышей по полю промышлять, вроде как дворовая сучка по полю за ними мышкует, сычуется, — ведь сычи и совы тоже за ними охотятся, — а заяц, он только с жиру играет, жирует. И это настовик называется, а старый русак, он голубой: он уж, значит, выцвел, серую шерстку спустил.

— Ну, хорошо, а как же это Победим в одно поле пять лобанов взял?

— А так и взял. Очень лют был. И характера са-

модурного, угрюмого. Пока не разровнялась охота, идет будто скучный, равнодушный. Он от свор, от стаи всегда одиночкой ходил, беспременно возле дедушки, и все будто что-й-то думает, хмурится, никуда не спешит. Да и дома такой же. Бывало кричишь на-корму: «Атрыш!» — чтобы, значит, не кидались собаки не во время к корму, а он и не слушает — стоит отвернувшись, сам, мол, знаю время. Кричишь наконец того: «Надбруц!» — значит, разрешаешь на корыто с запаркой кинуться — он опять не спешит, подходит будто нехотя и уж тут не стой другая собака возле него близко — так рыкнет да оскалится, что дай Бог ноги унести! Вот я и говорю: все, бывало, сам по себе ходил, возле дедушки. И умен до того, что только не говорит: будто и не смотрит, а всякий дедушкин взгляд видит, знает и от его стремени, пока работы нету, ни на шаг. А уж это, по охотничьим замечаниям, много значит. Так и говорится: умница собака, от стремени без дела ни на пядь.

— А еще какие у вас знаменитые кобели были?

— Гончие, то есть? Был Будило, Карай, Вопило, Пылай... Были сучки отменные, чистопсовые, все больше краснопегие: Вьюга была, Стрелка, Заира... Эта Заира воейковскую Ласку с ушей обрывала!

— Перегоняла?

— Так точно.

— У ней щипец хорош был?

— Не кстати, сударь, говорите. Слыхали звон, да не знаете, где он. Щипец, а по-просту говоря, пасть, это только у зверя бывает. Это как всякий хвост поленом называется, а лисий — трубой. Хвост не охотничье слово.

— А лисий след — нары́ск?

— Не нары́ск, а на́рыск, — тут надо на «на» упираться. Она рыскает, вот и выходит на́рыск.

— А где ее ждут? На лазу?

— И опять ни к чему вы говорите. Тут опять на «зу» надо упирать — на лазу! — а главное, это не лисицу, а волка ждут на лазу, там, значит, где он вылезает, да и то не всегда — мало-ли где его ждут! И что ж это вы все меня сбиваете, слова не даете сказать? Вот я уж и забыл, о чем была речь.

— Ты про Победима хотел рассказать.

— Ну да, а вы все сбиваете. Вот я и говорю — приказали раз дедушка большой охоте быть. Раз говорят мне: «Знаешь, Леонтий, я даже ночь вчерась не спал, упражнен будучи с самой ужины воображением на счет наших охот. Разбился в идеях, куда ж нам на полевание итить? Надоели мне наши скаредные места. Конечно, легче в безделицах упражняться, нежели в делах изрядных, иначе это не мой вкус. Будем брать поле в Верховьи». Уж очень, говорю, непролазные места, сударь. Тем лутче, говорят, молчи и слушай мое готовое. Потом, после ужины...

— После ужина?

— Это теперь так выражаются, а мы говорили по-своему, по-старому. Ну так вот, дали после ужины повторительный приказ камердинеру, чтобы как можно скорей кофий им нарани подали. Опочивать изволили рано, по разговорах со мной вскорости к себе ретировались, поутру же были изрядно строг, все в полслова приказывал. Чем свет опять меня зовут. Леонтий, говорят, повторяю тебе — мы нынешний год сраммимся до девятой пуговицы, большой охотой все манкируем, с поля иной раз уходим, не видав ни шерстинки. Я отвечаю, что, мол, не наша в том вина, время все стояло теплое, всякая зверь хоронилась, не в рыску была...

— На «ку» надо упирать?

— Так точно. Значит, не рыскала. Ездили, говорю, раза два по белотропу...

— Это по первой пороше?

— Ах, сударь, замучили вы меня! Ну, конечно, так. Ездили, говорю, по белотропу, а он под копытом таял — разве эта охота? Все перемóчки, изгарь, сырая прóхолодь... Вот теперь другое дело и зверь уж вылез как следует...

— Откуда вылез?

— Из лесу. Это когда он позднюю осень почует и в лесу больше не хоронится, а в поле выходит. Опять-же, говорю, и Победим хворал, а мы все на Катая надеялись, с ним роль хотели разыграть. (Дедушка тогда только что выменяли у Рудина на Резвую этого Катая и увлекались, понятно). Катая, говорю, нельзя покорить, собака ладная и с ногами, работает правильно, да разве Победиму чета?

— А какой Катай был? Чернопегий, краснопегий или полвопегий? Брудастый?

— Ишь как вы наострились, сударь! А спроси вас, какой такой полвопегий, ан и не знаете.

— Нет, знаю. Белый в желтых пятнах.

— Правильно-с. А брудастый?

— Ты это уже говорил. Усатый.

— Опять верно. А подъездый?

— А это когда нижняя челюсть маленькая.

— В аккурат верно. А Катай был чернопегий и брудастый. Ну хорошо, только опять мы с вами с до-роги сбились, надо вам досказать про Победима. Вышли в тот день дедушка на крыльцо раным рано, огляделись — ну, говорят, с Богом, нá-конь! Двинулись мы всем нашим многолюдством, прошли по венцу нашей горы, выровнялись на простор, поднялись дедушка на своем буланом на темя и приказали начинаться полю...

— На какое темя?

— Ах, Царица Небесная! Ну как это сказать? На возвышенное место, по-просту говоря... Шли сперва по мелочам, по мелкому, значит, кустарнику, потом свалились в луга к лесу, перешиб я луга рысью и стал

подвывать. Только отголосу не слышу никакого, — верно, думаю, они на добыче. Выскочила, было, лисица да скатилась в овраги и сразу понорилась, ушла в свое нырище, не стали мы на нее и время терять. Потом подбзрил я русака, хлопнул арапельником — заложились за ним Стрелка с Заирой по грани, сладились...

— По грани? Это по рубежу, значит?

— По меже, по рубежу... Спят, спят...

— Настигают?

— Понятное дело. Спят за ним почесть ухо в ухо, только стал он вдруг отростать от них...

— Как это отростать?

— Уходить, сударь, уходить. Да Заира неглупей его была — надала маленько, сбила его с грани и покатила вместе с ним, а тут стоя и накрыла их. Дедушка кричат: «Прими!», а я уж давно принял...

— Заколол?

— Конечно, заколол, да кто ж так-то говорит? Приказная строка какая-нибудь! Да не в том дело, сударь, я все это к тому, что окромя этих пустяков ничего мы в тот первый день не сделали до самого вечера. Вечеру встретили охоту Рудина, сбили обе стаи в одну и пошли к нему на наслег, подвалили к усадьбе...

— На ночлег?

— На наслег, сударь, на наслег. А у Рудина...

Но мне, как это часто бывает с детьми, вдруг стало скучно, хотелось в сад, на пруд. Я начинал вертеться, уже плохо слушал, что было у Рудина, и наконец под каким-нибудь предлогом ускользал из избы, пообещав Леонтию придти дослушать его завтра. И Леонтий опять оставался один в сумраке на печи, в пустой избе, со своими думами о временах дедушки.

1946 г. Париж.

«ОСТРОВ СИРЕН»

На Капри есть «Лазурный грот», на Капри в древности жил Тиверий, а в прошлом веке Крупп, знаменитый своими пушками и некоторыми деяниями, в которых он подражал Тиверии и которые заставили его в конце концов прибегнуть к самоубийству... Вот, кажется, все, что общеизвестно о Капри.

Некоторым известно еще то, что был этот дивный остров когда-то под властью варваров, потом греков, норманов... Историки и археологи вспомнили о нем сравнительно недавно. Они нарушили его вековую тишину, покой, начали раскопки и великое расхищение его античных ценностей. Ценности эти оказались лежащими в Каприйской земле чуть не на каждом шагу: крестьяне, в виноградниках которых то и дело находили их, все отдавали кому попало, за гроши, позволяли вывозить целыми барками... Затем — это было всего сто лет тому назад — какой-то немецкий поэт случайно открыл в скалистых обрывах северного берега Капри грот, столь волшебным освещаемый солнцем и волнами, проникающими в него, что Капри сразу стал известен всему миру, как «истинно обетованная страна всех живописцев и любителей Натуры», непрестанное и многолюдное паломничество которых на «божественный остров» уже никогда не прекращалось с тех пор, невзирая на полную дикость острова в смысле даже малейших удобств жизни на нем и на сообщение между ним и Неаполем лишь на парусных лодках: только уже долго спустя открылась на Капри первая гостиница и соединило его с Не-

аподем пароходное сообщение. Сообщение это было даже и до нашей поры крайне убогое, но из года в год доставляло на Капри великое множество путешественников со всех концов света...

Чтобы представить себе Капри, надо прежде всего вообразить себя в Неаполе, посреди лукоморья, полукруга огромного неаполитанского залива, с гористыми берегами влево, с городками, белеющими вдоль их подножья, и громадой Везувия. Прямо перед Неаполем, в заливе, как бы тают в водной сини два высоких острова: Иския и Капри.

Капри «поднимается из лона морского подобно лежащему сфинксу» или затонувшему кораблю, как говорят другие. Байрон сравнил Капри с волной, гонимой бурей. Но, если говорить проще, это гигантская скала, торчащая из моря, дикая на вид и местами совершенно отвесная, хребет которой образует почти по середине своей глубокую седловину, давшую приют маленькому городку Капри, его оливковым садам и виноградникам. Над страшной стремниной того каприйского берега, что обращен к востоку, к материке Италии, к мысу Минервы, до сих пор сохранились следы дворца Тиверия и обрыв этот так и называется: Монте Тиберио. А западная часть острова увенчана скалистой горой (Монте Соляро), на половине высоты которой висит другой городок, Анакапри. Что древнее — Капри или Анакапри — неизвестно. Страбон говорит, что оба эти города существовали с незапамятных времен, так что, может быть, самое название острова происходит от финикийского слова Капраим, что значит: два города.

Южный скат каприйской седловины называется Пикола Марина, северный — Марина Гранде. Пароходик, идущий из Неаполя до Капри часа два довольно быстрым ходом, пристаёт к последней. По мере приближения к острову, путешественник все больше поражается цветом воды: цвет этот — некое подобие

яркого драгоценного камня, какого-то дивного сплава купороса и индиго. Затем видишь небольшой залив, а на его берегу каменистый рыбацкий поселок, первобытный, живописный в своей итальянской грубой старине. От этого поселка можно подняться в седловину острова, в городок Капри, двумя путями: прямо, по крутому отвесу фуникулера, или же по извивам шоссейной дороги среди виноградников. Начало этого пути проходит по тому месту, где город Капри стоял в древности, мимо византийской церкви С. Констанцо, существующей полторы тысячи лет и очаровательной своей убогой простотой, бедностью, хотя и украшенной внутри античными порфировыми колоннами. А из седловины, из улечек Капри можно любоваться сразу двумя морями: с одной стороны — неаполитанский залив, Иския, Неаполь, с другой — открытое море, идущее вплоть до берегов Африки.

Когда подплываешь к Капри, указывают то на Монте Соларо, — там, на самой вершине, чудесно рисуются в небе развалины Замка Барбароссы («орлиное гнездо тунисского корсара, некогда предавшего огню и мечу всю неаполитанскую область и Капри»), — то на те места возле пристани, где стоял летний дворец Августа. А в путеводителе найдешь и кое-что из истории Капри: греки называли Капри «Остров Сирен» и учредили на нем поклонение этим милым и коварным морским существам; со времени римлян он получил другое имя, — Капрея, то есть Козий остров; Август посетил его, возвращаясь из сицилийского похода, и был так пленен им, что выменял его у неаполитанских греков на остров Искию. Смотря на Монте Соляро и на Анакапри, видишь и знаменитую «финикийскую лестницу», ведущую к Анакапри вправо от пристани: это чуть ни тысяча каменных ступеней, высеченных почти отвесно в скалах (именно будто бы финикийцами, которые считаются самыми первыми владельцами острова). Теперь в Анакапри можно подняться

довольно легко — по извивам шоссейной дороги. Но анакаприйцы все еще предпочитают ей свою каменную лестницу. Это вообще очень странный народ: с глубокой древности жили и живут они необыкновенно замкнутой жизнью, совсем отдельной даже от жизни каприйцев, почти не общаясь с ними, говоря на своем собственном наречии; среди них до сих пор есть старики и старухи, от рода никогда не бывавшие в городке Капри.

Поднявшись от пристани на извозчике или по фуникюлеру, выходишь на маленькую площадь, где стоит старинная башенка с часами и гербом испанской династии. Она стоит на самом краю площади, над глубоким обрывом, и отсюда открывается один из самых славных видов в мире, — на Неаполитанский залив, на Неаполь. Поглядев туда и повернувшись лицом к городку, пересекаешь площадь, вступаешь в узкую улочку, упирающуюся в богатый отель, когда-то построенный Крупном и подаренный им одному из своих слуг, потом идешь влево и выходишь на Виа Трагара, на дорогу, вьющуюся по южным обрывам острова. Тут сперва проходишь мимо небольшой долины, лежащей справа от тебя, за отелем, и сходящей к морю; в ней, на месте другого дворца Августа, зимнего, среди кустарников и оливковых деревьев, высится огромный остов уже давно пустующего шестисотлетнего картезианского монастыря, его древняя, крытая бурой черепицей церковь, стены келий, внутренний двор, заросший дикими розами и бурьянами. Далее все еще более дико и прекрасно: с одной стороны — блеск солнца и южного моря, с другой — южная пустынность скал и непролазность кустарников, поднимающихся стенами в небо. Какой-нибудь мальчишка, привязавшийся к тебе на этой дороге, заученным бормотанием перечисляет ее достопримечательности: три скалистых островка, стоящих возле побережья, всем известных по Беклину, Арку

Натурале, грот Митры, где Тиверий будто бы приносил человеческие жертвы, и множество других гротов, известных чудесной разностью своих красок: в одном все кажется золотисто-желтым, в другом переливается прозрачно-зеленый свет, в третьем подводные растения озаряют стены чем-то вроде пурпурного пламени...

Тивериева дорога, идущая из городка Капри параллельно этой, только не по обрывам гор, а по вершинам, приводит к самому знаменитому месту острова, — к местожительству Тиверия. Тут все подымаешься, идешь по крутому плоскогорью, среди ферм, вилл и виноградников. Сады, цветы, кипарисы, пинии... Кое-где ступени, высеченные еще при Августе в скалистой почве, кое-где — стертые колеи каменной дороги, по которой «рабы когда-то носили на носилках Тиверия»... Развалины его жилища огромны. Остров тут обрывается над морем совершенно отвесно, глубочайшей бездной. На самом обрыве — остатки маяка, который считался в древности одним из самых больших и ярких в мире и освещал мореходам путь чрезвычайно опасный, ибо это море есть довольно узкий пролив между Капри и материком. Ближе — самые развалины. Высота, пустыня, солнце, небо, шум солнечного ветра в диких травах и в развалинах. Развалины — целый лабиринт комнат и галлерей. Уцелели своды и стены первого этажа и подземелья под ним. Центром дворца был перестиль, окруженный колоннадой и частными покоями Цезаря, — кое-что из всего этого тоже сохранилось... Каков был при Тиверии атриум его? Мраморный потолок, в квадратных углублениях которого — бронзовые розетки, края сводов окаймлены бронзой. Стены покрыты полированной киноварью и украшены рельефами из алебаstra, представляющими Крылатых Побед в легких, развевающихся туниках, с пальмовы-

ми ветвями в руках, а равно и другими рисунками: в кругах, на синем поле — трагические и комические маски, людские страсти и заблуждения. К каменным пилястрам цвета слоновой кости и старого золота прислонены трофеи — громадные костяки допотопных животных и оружие древних, баснословных героев. Среди трофеев, на бронзовых подставках, — драгоценные коринфские вазы, которые Август всю жизнь собирал с великой любовью и вкусом. Пороги входов — из белого мрамора и блестящего египетского гранита, но завесы этих входов из грубого полотна. И вот, откинув их, входящий видел после яркого солнца легкую тень атриума, этот мраморный потолок, полированную киноварь стен, трофеи, костяки, вазы, узорчатый мозаичный пол, в глубине же — статую Августа, обожествленную атрибутами Юпитера, перед ней — полукруглый алтарь простого этрусского стиля из белоснежного мрамора, стол для приношений, покрытый белым покрывалом, вышитым по краям узором из листьев, бронзовый треножник для священного огня... В этих стенах, где некогда шуршали осторожные шаги рабов и царедворцев, звучали лидийские флейты и звенел смех прекрасных наложниц, нынче укрывается от дождей и бурь скот каприйских крестьян...

Светоний говорит, что в молодости Тиверий был красив, имел орлиный нос и большие глаза, которые могли будто бы видеть даже в темноте, высокий рост и крепкое сложение, — плечи и грудь широкие, части всего тела соразмерные, — силу же такую, что мог щелчком пробивать темя взрослого человека; только он и в молодости был мало приветлив и приятен: ходил, склонив голову вбок, угрюмо и молча, а когда говорил, то медленно и трудно расставлял слова, помогал своей речи движением правой руки; и этому описанию Светония довольно соответствует статуя

молодого Тиверия в ватиканском музее: он сидит твердо и прямо, со скипетром в руке; переносица тонка, остра, отчего глазные впадины кажутся глубокими и придают лицу выражение ястреба... В дворце на Капри сидел человек уже весьма мало похожий на этого.

Он навсегда покинул Рим в двадцать шестом году от Р. Х., чтобы последние одиннадцать лет своей жизни прожить почти сплошь на Капри, — в полном соответствии с предсказаниями звездочетов. Весь остров был в то время сплошным садом, покрыт каменным дубом, любимым деревом Августа; с уступов гор всюду сходили к морю высеченные в скалах террасы; водопроводы были проложены на арках и доставляли дождевую воду в нимфеи, украшенные мраморными и бронзовыми статуями; климат острова, его бальзамический воздух славился своим здоровьем, что на деле доказывали и еще доселе доказывают столетние каприйские старцы; сказочно было каприйское обилие всякой птицы, рыб, устриц, омаров; вина каприйские были превосходны... Выбор Тиверия остановился на Капри и по этим причинам и потому, что остров напоминал ему Грецию, больше же всего по другому: Капри был неприступен, высадиться на нем было трудно, а миновать стражу невозможно, и цезарь, с высоты своего убежища, всегда видел не только все, что творилось на острове, но и все корабли, шедшие мимо острова во всех направлениях... «Был же он весьма стар в ту пору, а в уединении, в свободе для своего великого разврата и злодейства и в неприступности самой надежной нуждался, как никто на земле...» Он был страшен в эту пору: «лицо его покрылось язвами, залеплено было пластырями; глаза глубоко провалились; губы, подбородок отяжелели; шея раздулась как бы от какого-то неведомого яда; дыхание стало тлетворно; зрение и слух осла-

бели; речь доставляла ему теперь труд уже крайний, медлительный, упорный... и единой радостью его жизни сделалась только алчность...»

Перед смертью он отправился в Рим. По пути остановился в Тускулуме, — испугался: любимая змея, которую он всегда возил с собою, была съедена муравьями. Из Тускулума повернул обратно, на Капри. Но тут его задержали буря и болезнь. Он остановился на Мизенском мысе. И за вечерней трапезой вдруг потерял сознание. Его окружали Макрон, Калигулла, Друзилла и врач Харикл. Друзилла сняла с бесчувственного Цезаря знак его божественной власти, — драгоценную гемму, перстень Диоскорида, — и вручила Калигулле. Цезарь очнулся, спросил косноязычно: «Где перстень?» Калигулла трясся от страха. Макрон бросил на лицо Цезаря одеяло и быстро задушил его.

ТРЕТИЙ КЛАСС

Глупец тот, кто воображает, что он имеет полное право и возможность ездить когда ему угодно в этом классе!

Вот Цейлон, Коломбо, март 1911 года.

Утро, всего восьмой час.

Но зной уже адский, он густ и неподвижен, как перед той страшной грозой, которой, должно быть, начался потоп.

Весь в белом и в белом шлеме, сижу в раскаленной лакированной колясочке, в маленькой двуколке, в тонких оглоблях которой ровно и крупно, слегка подавшись вперед, мчится высокий и черный, весь блистающий своей могучей великолепной наготой тами.

Еду на вокзал, чтобы отправиться — ну, скажем, в Анарадхапуру.

И вот впереди уже площадь, пустая, белая, ослепительная, а за нею еще более ослепительное белое здание вокзала, — оно почти страшно своей белизной на белесом от зноя небе. Среди всей этой белизны и белого солнечного пламени черное тело и длинные черные волосы тамилы режут глаз.

В здании вокзала легче, всюду веет теплый сквозняк.

Сняв шлем, вытираю мокрый ледяной лоб, кость которого так ощутительна при поте, и спешу к выходу на платформу.

Высокий и тяжелый, с белыми крышами и навесами над окнами, поезд уже готов.

Спешу к будочке кассира, вынимаю на ходу ровно столько монет, сколько требуется на проезд до Анарадхапуры в третьем классе, и стучу ими перед выглядывающим из будки англичанином:

— Third class, Anaradhapura! Третий класс, Анарадхапура!

— First class? Первый класс? — спрашивает англичанин.

— No, third class! — кричу я.

— Yes, first class! — кричит англичанин, выкидывая мне билет первого класса.

И тогда я прихожу в ярость и начинаю кричать приблизительно так:

— Слушайте, мне это осточертело! Я хочу видеть все особенности страны, всю ее жизнь, всех ее обитателей, вплоть до самых «презренных», как вы любите выражаться о цветных людях, которые, конечно, не могут да и не смеют ездить в первых классах. Но всякий раз, как я хочу сесть в третий класс, начинается борьба с кассиром! Я твердо и ясно требую третий класс. Однако, пользуясь созвучием слов, меня всякий раз перебивают, дурачат: «Вы хотите сказать, первый класс?» Я кричу: да нет, третий! Но мне все-таки выкидывают билет первого класса. Я швыряю его назад — и тогда кассир, вне себя от негодования и удивления, что белый человек одержим низким и безумным желанием сидеть рядом с цветным, начинает тоже кричать, пугает меня насекомыми, которых я могу набраться от цветных, главное же, наставляет меня в том, что никто, решительно никто из белых не ездит здесь в третьем классе, что это не принято, неприлично, возмутительно!

И я твердо заключаю:

— Одним словом, извольте сию же минуту дать мне то, что я требую!

В конце концов кассир сдается: пораженный моей

яростью, он на мгновение каменеет и вдруг решительно швыряет мне билет третьего класса.

Торжествуя, водворяюсь я в вагоне и жду спутников, этих самых «презренных» цветных.

Но что за чорт — их нет и нет!

По платформе, мимо моего купе, несется непрерывный сухой шорох босых бегущих ног.

Но почему же несется он все мимо, все дальше куда-то?

А, понимаю: это их пугает мой шлем, белый шлем белого человека!

И я снимаю шлем, прижимаюсь в угол, снова жду — снова напрасно.

— Теперь-то почему же никого нет? — думаю я. — Ведь теперь они меня не видят?

И я вскакиваю с места, высовываюсь в окно, чтобы понять, в чем дело — и дело объясняется тотчас же и очень просто: на моем купе крупно написано мелом, что оно — занято! Едва я успел войти в него, как на нем написали: занято! Настоял, мол, на своем, вырвал билет третьего класса, так вот же тебе — сиди, идиот.

И несется, несется поезд в бездне ослепительно-го зноя, льющегося с неба на эту радостную, райскую землю, и четко отдается татаканье колес от цветущих лесных дебрей, без конца летящих назад, мимо окон.

— Курумба-а! — горестно и звонко кричат на остановках продавцы кокосовых орехов под сухой шорох босых ног, бегущих мимо моего купе.

И на одной из следующих остановок я, как вор, перебегаю в четвертый класс, в вагон, набитый сидящими и стоящими, черными и шоколадными телами, которые только по бедрам повязаны мокрыми от пота тряпицами.

МОЛОДОСТЬ И СТАРОСТЬ

Прекрасные летние дни, спокойное Черное море.

Пароход перегружен людьми и кладью, — палуба загромождена от кормы до бака.

Плавание долгое, круговое — Крым, Кавказ, Анатолийское побережье, Константинополь...

Жаркое солнце, синее небо, море лиловое; бесконечные стоянки в многолюдных портах с оглушающим грохотом лебедек, с бранью, с криками капитанских помощников: — ма́йна! ви́ра! — и опять успокоение, порядок и неторопливый путь вдоль горных отдалений, знойно тающих в солнечной дымке.

В первом классе прохладный бриз в кают-компании, пусто, чисто, просторно. И грязь, теснота в орде разноплеменных палубных пассажиров возле горячей машины и пахучей кухни, на нарах под навесами и на якорных цепях, на канатах на баке. Тут всюду густая вонь, то жаркая и приятная, то теплая и противная, но одинаково волнующая, особая, пароходная, мешающаяся с морской свежестью. Тут русские мужики и бабы, хохлы и хохлушки, афонские монахи; курды, грузины, греки... Курды, — вполне дикий народ, — с утра до вечера спят, грузины то поют, то парами пляшут, легко подпрыгивая, с кокетливой легкостью откинув широкий рукав и плывя в расступившейся толпе, в лад бьющей в ладоши: таш-таш, таш-таш! У русских паломников в Палестину идет без конца чаепитие, длинный мужик с обвисшими плечами,

с узкой желтой бородой и прямыми волосами вслух читает Писание, а с него не спускает острых глаз какая-то вызывающе-независимая женщина в красной кофте и зеленом газовом шарфе на черных сухих волосах, одиноко устроившаяся возле кухни.

Долго стояли на рейде в Трапезунде. Я съездил на берег и, когда воротился, увидал, что по трапу поднимается целая новая ватага оборванных и вооруженных курдов — свита идущего впереди старика, большого и широкого в кости, в белом курпее и в серой черкеске, крепко подпоясанной по тонкой талии ремнем с серебряным набором. Курды, плывшие с нами и лежавшие в одном месте палубы целым стадом, все поднялись и очистили свободное пространство. Свита старика настелила там множество ковров, наклала подушек. Старик царственно возлег на это ложе. Борода его была бела как кипень, сухое лицо черно от загара. И необыкновенным блеском блестяли небольшие карие глаза.

Я подошел, присел на корточки, сказал «селям», спросил по-русски:

— С Кавказа?

Он дружелюбно ответил тоже по-русски:

— Дальше, господин. Мы курды.

— Куда же плывешь?

Он ответил скромно, но гордо:

— В Стамбул, господин. К самому падишаху. Самому падишаху везу благодарность, подарок: семь нагаек. Семь сыновей взял у меня на войну падишах, всех, сколько было. И все на войне убиты. Семь раз падишах меня прославил.

— Це, це, це! — с небрежным сожалением сказал стоявший над нами с папиросой в руке молодой

полнеющий красавец и франт, керченский грек: вишневая дамасская феска, серый сюртук с белым жилетом, серые модные панталоны и застегнутые на пуговицы сбоку лакированные ботинки. — Такой старый и один остался! — сказал он, качая головой.

Старик посмотрел на его феску.

— Какой глупый, — ответил он просто. — Вот ты будешь старый, а я не старый и никогда не буду. Про обезьяну знаешь?

Красавец недоверчиво улыбнулся:

— Какую обезьяну?

— Ну так послушай. Бог сотворил небо и землю, знаешь?

— Ну, знаю.

— Потом Бог сотворил человека и сказал человеку: будешь ты, человек, жить тридцать лет на свете, — хорошо будешь жить, радоваться будешь, думать будешь, что все на свете только для тебя одного Бог сотворил и сделал. Доволен ты этим? А человек подумал: так хорошо, а всего тридцать лет жизни! Ой, мало! — Слышишь? — спросил старик с усмешкой.

— Слышу, — ответил красавец.

— Потом Бог сотворил ишака и сказал ишаку: будешь ты таскать бурдюки и выюки, будут на тебе ездить люди и будут тебя бить по голове палкой. Ты таким сроком доволен? И ишак зарыдал, заплакал и сказал Богу: зачем мне столько? Дай мне, Бог, всего пятнадцать лет жизни. — А мне прибавь пятнадцать, — сказал человек Богу, — пожалуйста прибавь от его доли! — И так Бог и сделал, согласился. И вышло у человека сорок пять лет жизни. — Прав-

да человеку хорошо вышло? — спросил старик, взглянув на красавца.

— Неплохо вышло, — ответил тот нерешительно, не понимая, очевидно, к чему все это.

— Потом Бог сотворил собаку и тоже дал ей тридцать лет жизни. Ты, сказал Бог собаке, будешь жить всегда злая, будешь сторожить хозяйское богатство, не верить никому чужому, брехать будешь на прохожих, не спать по ночам от беспокойства. И, знаешь, собака даже завывала: ой, будет с меня и половины такой жизни! И опять стал человек просить Бога: прибавь мне и эту половину! И опять Бог ему прибавил. — Сколько лет теперь стало у человека?

— Шестьдесят стало, — сказал красавец веселее.

— Ну, а потом сотворил Бог обезьяну, дал ей тоже тридцать лет жизни и сказал, что будет она жить без труда и без заботы, только очень не хороша лицом будет, — знаешь, лысая, в морщинах, голые брови на лоб лезут, — и все будет стараться, чтоб на нее глядели, а все будут на нее смеяться.

Красавец спросил:

— Значит, и она отказалась, попросила себе только половину жизни?

— И она отказалась, — сказал старик, приподнимаясь и беря из рук ближнего курда мундштук кальяна. — И человек выпросил себе и эту половину, — сказал он, снова ложась и затягиваясь.

Он молчал и глядел куда-то перед собою, точно забыв о нас. Потом стал говорить, ни к кому не обращаясь:

— Человек свои собственные тридцать лет прожил по-человечьи — ел, пил, на войне бился, танцевал на свадьбах, любил молодых баб и девок. А пятнад-

цать лет ослиных работал, наживал богатство. А пятнадцать собачьих берег свое богатство, все брехал и злился, не спал ночи. А потом стал такой гадкий, старый, как та обезьяна. И все головами качали и на его старость смеялись. Вот все это и с тобой будет, — насмешливо сказал старик красавцу, катая в зубах мундштук кальяна.

— А с тобой отчего ж этого нету? — спросил красавец.

— Со мной нету.

— Почему же такое?

— Таких, как я, мало, — сказал старик твердо. — Не был я ишаком, не был собакой, — за что ж мне быть обезьяной? За что мне быть старым?

1936 г.

ЖИЛЕТ ПАНА МИХОЛЬСКОГО

Было это в Киеве, в сороковых годах прошлого века и рассказывалось многим киевлянам самим паном Михольским, а нам пересказано писателем Ясинским.

Пан Михольский задумал жениться. Был он тогда еще очень молод, но уже довольно разумен, тяготел к обществу людей солидных и светских, невесту выбрал себе хорошенькую и с приданым, все приготовления к свадьбе совершал обстоятельно, прилично. А так как одна из основ приличной жизни заключается в приличной экипировке, то пан Михольский решил приехать перед свадьбой из своего глухого уезда в Киев, дабы нашить себе панталон, сюртуков, фраков и жилеток по самой последней моде. Так он и сделал — приехал и экипировался на славу, пользуясь советами некоторого графа, знавшего и протезировавшего молодого провинциала. Перед отъездом же из Киева обратно, в свой родной город, зашел однажды пан Михольский к графу с намерением приятно провести вечер и застал его в больших заботах по самому тщательному туалету. Пан Михольский смутился, стал извиняться:

— Ах, простите, любезный граф! Вы, кажется, в сборах куда-то...

— Да, — сказал граф, — еду к Юзефовичу в Липки. Пригласил в гости и притом на весьма важную персону.

— Что же это за персона? — спросил пан Михольский.

— Некто Гоголь, писатель.

— А, знаю, читал его вещички.

— А я, — сказал граф, — только слышал, будто он пишет, читать же мне его не доводилось. Что ж он, хорошо пишет?

— Да недурно, — ответил пан Михольский, — только уж больно обыденно: нет, знаете, полету, байронизму...

— А все-таки надо ехать, — сказал граф, вздыхая. — Во-первых нельзя манкировать приглашением такого лица, как Юзефович, а во-вторых, и сам этот Гоголь: он, оказывается, в большой милости у господаря.

Пан Михольский насторожился:

— Да что вы? Ну, знаете, это очень меняет дело. Я бы и сам был не прочь взглянуть на такую знатную личность.

— А раз не прочь, то и взгляните. Едем со мной в Липки.

— Помилуйте, как же так? Неловко...

— Пустяки! Юзефович радушнейший хозяин. Я вас ему представлю. Едем!

И вот граф и пан Михольский в Липках. А там уже целая ассамблея, тайный трепет, ожидание высокого гостя. Давно готов чайный стол на балконе, толпятся, тихо переговариваясь, прочие гости, — все больше профессора киевского университета в новеньких мундирах, — хозяин то и дело выбегает взглянуть, не едет ли Гоголь. Но проходит час, другой — Гоголя все нету. Наконец бежит дворецкий: приехал! Хозяин кидается навстречу, профессора одергивают фалды, выстраиваются в ряд, опускают по швам ру-

ки... И вот тут-то и происходит то, о чем столько раз повествовал впоследствии пан Михольский приблизительно в таком роде:

— Как сейчас помню, этот самый Гоголь шел впереди почтительно следовавшего за ним хозяина, не спеша и глядя несколько вкось, исподлобья. У него был длинный нос, длинные прямые волосы. На нем был сюртук темного граната и темнозеленая жилетка, по которой краснели мушки и глазки и ярко блестели желтые пятна. Все мы низко перед ним склонились, он же вдруг остановился и, не отвечая на поклоны, стал глядеть на одну мою особу. Хозяин рекомендует:

— Профессор такой-то... Профессор такой-то...

Он начинает легонько кивать головой, бормочет:

— Весьма приятно... душевно рад во всех смыслах...

Затем хозяин предлагает ему сесть к столу и откусать. Но он брезгливо смотрит на чай, на закуски, морщится от заходящего солнца. Хозяин делает поспешный знак какому-то молодому человеку, тот еще поспешнее кидается к краю балкона и загораживает собою Гоголя от солнца. Но Гоголь и на это не обращает вниманья, за стол не садится, а все продолжает глядеть на меня, точнее сказать, на мою грудь, в тот день украшенную одной из моих новых и лучших жилеток: жилетка эта была тоже весьма нарядна, только походила не на шкурку лягушки, как у столичного гостя, а на шкурку хамелеона.

— Мне сдается, — молвил он наконец, щурясь: — мне сдается, что я вас где-то уже видел.

Я хочу ответить, что, кажется, не имел такого счастья, но хозяин так сердито грозит мне из-за его спины пальцем, что у меня прилипает язык к гортани. А Гоголь продолжает (и все не без яду):

— Да, я вас где-то видел. Не скажу, чтобы ваша физиономия памятна мне живо, но тем не менее я вас видел. Видел же я вас в каком-то трактире, вы там лакомились луковым супом.

Что мне было делать? Это было уже обидно, но я, конечно, только кланяюсь и ничего не возражаю. Гоголь же снова погружается в молчание, задумчиво глядя на разводы моей жилетки. Затем вдруг подает хозяину руку, делает общий поклон всем прочим и направляется к двери. Хозяин поражен как нельзя больше, но удерживать его, конечно, не смеет. Гоголь уходит, как-то неловко передвигая ноги в узких серых панталонах на широких штрипках, а хозяин растерянно бежит за ним следом, кланяется ему в спину...

Тут, в заключение своего рассказа, пан Михольский всегда хитро усмехался:

— Скажите же мне теперь, — говорил он, — как объясняете вы себе столь странное поведение Гоголя в Липках? Что такое происходило в его натуре?

Ему на это отвечали:

— Да кто же может знать натуру такого человека? Может быть, ему мелькнула какая-нибудь чудная идея, встала в воображении резкая фигура...

Но пан Михольский мотал головою:

— Да нет же! Ни то, ни другое. Ларчик открывался просто: Гоголь позавидовал на мою жилетку! Да, да, честное слово! Если бы граф не привез меня в Липки, то Гоголь и чай бы кушал и беседовал со всеми прочими гостями. Но случилось так, что я, совершенно невольно, отравил ему жизнь своей жилеткой.

— Но послушайте: разве это возможно?

— Да вот оказалось, что вполне возможно, а доказательства тому вот какие. Но другое утро прибегает ко мне в отелю портной еврейчик, у которого я делал эту жилетку, последнюю в своем роде, ибо бархата такого рисунка в городе больше не оставалось, и чуть не падает мне в ноги:

— На милость Бога, дайте мне, пан, вашу жилетку! Уступите за какие угодно деньги! Это же чистое наказание, что такой жилетки нигде в Киеве больше не достанешь! Приехал один важный господин из столицы и купил у Гросса жилетку, а теперь увидал вашу и кричит, что непременно подавай ему в точь-точь такую же, как ваша!

Я соображаю, в чем дело, и отвечаю:

— А как фамилия того господина?

Портной пожимает плечами:

— А я знаю? И зачем вам его фамилия?

А я уже ясно вижу: ну, конечно, это Гоголь! И твердо отвечаю:

— Нет, не продам я тебе жилетки ни за какие деньги! Он хоть и Гоголь, а такой жилетки у него нет и не будет! Я, брат, свою жилетку выше всяких его «Мертвых душ» ставлю!

1936 г.

ВОЗВРАЩАЯСЬ В РИМ

Он умер близ Ницеи, возвращаясь из Галлии в Рим.

Ожидали, что новая война будет долгая, трудная и, быть может, роковая для него: судьба была милостива к нему неизменно, но это был уже девятый поход в его жизни, а цифре девять приписывали недобрый знак. Все же война опять оказалась счастливой, даже еще более счастливой и короткой, чем все предыдущие: враг был поражен ударами столь меткими, что изумлена была, при всей своей вере в звезду своего вождя, сама победоносная армия: и прежде один вид его, при каждом его появлении перед нею, потрясал ее восторгом; теперь же, когда, на прощальных смотрах в Галлии, медленно двигалось вдоль воинских рядов грозное великолепие золотого Орла и шел под сенью его этот всегда тихий и печальный человек с землистым, плохо бритым лицом, люди смертельно бледнели, чувствовали себя как бы на краю пропасти, а затем разражались такими страстными кликами, точно их охватывало беснование.

Кончив войну, он совершил с государственными целями путешествие в Испанию: необыкновенная неустойчивость сочеталась с его телесной немощью. И путешествие это тоже было вполне благополучное и плодотворное. Поздней осенью, с небольшим отрядом и несколькими приближенными, он возвращался в Рим. Стояли прохладные, светлые дни. Шли бере-

гом моря. Как всегда, он был молчалив и бесстрастен, лицом сер и худ. Все же здоровье его никому не внушало опасений во время этого мирного странствия вдоль синих заливов и багряных побережий. Но вот, за один переход до Ницеи, он внезапно лишился голоса, почувствовал такую потерю сил, что поспешили остановиться на первой встречной вилле.

Она вполне приличествовала случаю. Это был знаменитый Очаг, известный всему Риму, благодаря славному имени его хозяина и своей благородной красоте. Безлюдный мыс далеко вдавался в море. Его сплошь покрывала серебристая зелень низкорослого соснового леса. Дом же, стоявший в этом лесу, был обширен и прост, белел мрамором стен, блистал тонким стеклом больших окон, окружен был цветниками, огненными далиями. За отъездом хозяина, вилла была пуста, и неожиданных гостей встретил только управляющий. Учтиво попросили приюта у него.

Вскоре, приняв ванну и подкрепляющее питье, он остался один. Ложе его стояло так, что с одной стороны был перед ним вид на море, поднимающееся за круглыми сосновыми верхушками, а с другой на Ницейский залив и туманно-далекую бледность Альп, безжизненно встававших к небу своими снегами, подобно великим гробницам. Вечерело, холодно туманилось. В пустынном просторе дремотно волнующегося моря была безнадежность, бесцельность, печальная загадочность. Белые гребни волн мерно возникали, падали. Верхушки сосен, чистых и холодных, ясно видных сквозь стекла, туго и звонко шумели. Два светильника ровно дрожали возле ложа сургучным пламенем. И под это дрожание и звенящий хвойный шум он впал в глубокий сон. Когда же очнулся, была уже черная ночь. Море шумело в ее тишине слышней и торжественнее, как бы приблизившись. Светильники текли и блитали; их языки, теперь золотые, ясные,

с лазурным основанием, дрожа тянулись вверх. И, приподнявшись, прислонясь к изголовью, он остановил свой взгляд на стеклах, черневших перед ним. Море шумело все ближе, явственней и с ним мешался все усиливающийся хвойный шум. Он созерцал и слушал эту черную ночную стихию, окружавшую его. Он понял, что час его близок. Сделав усилие, он сел еще немного выше и, взяв с ночного столика все, что нужно для писания, стал медленно, но твердо писать.

Он писал до рассвета. Он сделал последние государственные распоряжения и выразил некоторые из своих предсмертных мыслей. Он сказал так: имя мое переживет меня, люди будут поклоняться моим золотым и мраморным изображениям, может быть, еще много веков, ибо в человеке великом или хотя бы облеченном величием, мы чтим сосредоточенность тех высоких сил, что заключены в некоторой мере в каждом из нас. Он сказал, что Сократ, призывая человека к познанию «самого себя», имел в виду не познание особенностей, пороков или добродетелей, заключенных в человеке, но искание и пробуждение в себе того «божественного», что есть истинная суть человека. Когда же стало белеть за окнами, пожелтели огни светильников и сплошной белизной окружила дом утренняя мгла, шедшая с утихающего моря, он лег и покрыл лицо своим походным плащом, отдавшись участи всех смертных.

1938 г.

ИСКУШЕНИЕ

В час полуденный, зыбко сливаясь по Древу,
Водит, тянется малой головкой своей,
Ищет трепетным жалом нагую смущенную Еву
Искушающий Змей.
И стройна, высока с преклоненными взорами Ева
И к бедру ее круглому гривою ластится Лев
И в короне Павлин громко кличет с запретного Древа
О блаженном стыде искушаемых дев.

1952 г.

Р. С. По древним преданиям, в искушении Евы участвовали Лев и Павлин.

НОЧНАЯ ПРОГУЛКА

Смотрит луна на поляны лесные
И на руины собора сквозные.
В мертвом аббатстве два желтых скелета
Бродят в неподвижности лунного света:
Дама и рыцарь, склонившийся к даме
(Череп безносый и череп безглазый):
«Это сближает нас-то, что мы с вами
Оба скончались от Черной Заразы.
Я из десятого века, — решаюсь
Полюбопытствовать: вы из какого?»
И отвечает она, оскалываясь:
«Ах, как вы молоды! Я из шестого».

1947 г.

NEL MEZZO DEL CAMIN DI NOSTRA VITA

Дни близ Неаполя в апреле,
Когда так холоден и сыр,
Так сладок сердцу Божий мир...
Сады в долинах розовели,
В них голубой стоял туман,
Селенья черные молчали,
Ракиты серые торчали,
Вдыхая в полусне дурман
Земли разрытой и навоза...
Таилась хмурая угроза
В дымящемся густом руне,
Каким в горах спускались тучи
На их синеющие кручи...
Дни, вечно памятные мне!

1947 г.

Н О Ч Ь

Ледяная ночь, мистраль,
(Он еще не стих).
Вижу в окна блеск и даль
Гор, холмов нагих.
Золотой недвижный свет
До постели лег.
Никого в подлунной нет,
Только я да Бог.
Знает только Он мою
Мертвую печаль,
Ту, что я от всех таю...
Холод, блеск, мистраль.

1952 г.

МИСТРАЛЬ

«Все воды Твои и волны Твои прошли надо мною».

«Вот Ты дал мне дни как пяди, и век мой как ничто пред Тобою».

Век мой, Господи, ничто не только пред Тобою, но и предо мною самим...

Лежа в черной тьме спальни, среди шума и гула наружи, теряешь представление о времени. Забываясь, думаешь: «Кажется, скоро рассвет...» Но затем опять видишь ту же черную тьму, слышишь, как жадно несутся наружи мистраль, и понимаешь, что эта тьма, этот шум и гул еще ночные, полночные. Привычно подняв руку к изголовью, я освещаю спальню, смотрю на часы: час самый мертвый. От света все вокруг стало проще, шум и гул отделились от дома и спокойно стоит освещенный куб спальни, безучастно блещит зеркало против меня, над камином. В зеркало углубленно уходит вторая спальня, что во всем подобна первой, будучи только ниже и меньше ее; там тоже горит свет над старой дубовой кроватью, на которой уже столько лет сплю я в этом старом чужом доме, лежит на приподнятой подушке худое лицо, видны под светом, падающим сверху, темные впадины глаз, виден белеющий лоб, косой ряд в серебристых волосах... Потом я опять поднимаю руку — и опять только гул и тьма, в которой всюду реет что-то как бы светящееся...

«Ты взошел на корабль, совершил плавание, достиг гавани: пора сходить».

Итак, было будто бы время, когда я «всходил на корабль», юный, беспечный, ни о какой гавани не думающий... Где же оно, это время? Вот только моя мысль о нем! «Ничтожна жизнь каждого. Ничтожен каждый край земли... Немного уже осталось тебе. Живи как на горе. Как с горы обозревай земное: сборища, походы, битвы, полевые работы, браки, рождения, смерти...» И я мысленно вижу Прованс, по которому мчится мистраль с дикой жаждой сокрушения всего человеческого, временного, вижу весь этот древний край, сейчас спящий, пустой, со всеми его горами и долинами, с белеющими в лихорадочном блеске звезд дорогами — все теми же, что в те легендарные римские дни, когда миром правил тот, кто в какой-то «стране Квадов», в часы своего ночного одиночества, писал под лагерным шатром о ничтожестве всех человеческих жизней, стран и веков... В глухих провансальских селениях, первобытно прекрасных в своей дикости, пахнущих как бы пастушеским дымом, вьевшимся в камень и глину жилищ и очагов, народ говорит, что мул есть создание вещее, редкое по сокровенности чувств и помыслов, по уму и чуткости ко всему тайному и дивному, чем полон мир, и что до рассвета стоит он в такие ночи в своем темном, холодном, насквозь продуваемом стойле с открытыми глазами, ни на миг не ослабляя слуха и внимания к «работе» мистраля: он, верно, тоже видит, чувствует этот пустой, бесконечный пролет в пространство тех, римских времен, кажущихся мне и моими собственными...

Снова прихожу в себя в той же темноте, но в неожиданном глубоком спокойствии: всюду немота, молчание, бури точно не было. Я встаю, неслышно сбегая в прихожую, отворяю наружную дверь: свежесть ночного воздуха, терраса и пальмы на ней, сад по уступам внизу — и уже неподвижное в белой звездной россыпи небо... Всюду предрассветное ничто. За домом, над темной лесистой горой, есть уже что-то за-

таенное, обещающее, чуть светлеющее чем-то прозрачным, уходящим в вогнутую высь. Но нигде еще нет ни единого признака жизни. Округлые, от верхушки во все стороны раскинутые вайи пальм мертво висят черными клешнями. Ниже, над садом подо мной, над его скромно сереющими оливами, черно простираются плоские громады широковетвистых пиний. Впереди, в далекой глубине за ними, чуть различимо сквозь сумрак ночное, печальное лоно долин; еще дальше — сонная, холодная туманность: белесо застыло дыхание моря. К западу тучей означаются в небе хребты Эстерэля и Мор. К востоку темнеет горб Антибского мыса. И таинственно и мерно, с промежутками, зорко прядает там, на горбе, белый огонь маяка...

Но вот он вдруг гаснет: небо за мысом стало легкое, тонкое, бледное. И где-то внизу подо мной, на какой-то ферме, кричит первый рассветный петух: еще сквозь сон, несознательно, но уже задирчиво, с напрягающимся хриплым клекотом двух разных голосов...

Еще одно мое утро на земле.

1944 г.

Б Е Р Н А Р

Дней моих на земле осталось уже мало.

И вот вспоминается мне то, что когда-то было записано мною о Бернаре в Приморских Альпах, в близком соседстве с Антибами.

— Я крепко спал, когда Бернар швырнул горсть песка в мое окно...

Так начинается «На воде» Мопассана, так будил его Бернар перед выходом «Бель Ами» из Антибского порта 6 апреля 1888 года.

— Я открыл окно, и в лицо, в грудь, в душу мне пахнул очаровательный холодок ночи. Прозрачная синева неба трепетала живым блеском звезд...

— Хорошая погода, сударь.

— А ветер?

— С берега, сударь.

Через полчаса они уже в море:

— Горизонт бледнел, и вдали, за бухтой Ангелов, виднелись огни Ниццы, а еще дальше — вращающийся маяк Вильфранша... С гор, еще невидимых, — только чувствовалось, что они покрыты снегом, — доносилось иногда сухое и холодное дыхание...

— Как только мы вышли из порта, яхта ожила, повеселела, ускорила ход, заплесала на легкой и мелкой зыби... Наступал день, звезды гасли... В далеком небе, над Ниццей, уже зажигались каким-то особенным розовым огнем снежные хребты Верхних Альп...

— Я передал руль Бернару, чтобы любоваться восходом солнца. Крепнувший бриз гнал нас по трепетной волне, я слышал далекий колокол, — где-то зво-

нили, звучал *Angelus*... Как люблю я этот легкий и свежий утренний час, когда люди еще спят, а земля уже пробуждается! Вдыхаешь, пьешь, видишь рождающуюся телесную жизнь мира, — жизнь, тайна которой есть наше вечное и великое мучение...

— Бернар худ, ловок, необыкновенно привержен чистоте и порядку, заботлив и бдителен. Это чисто-сердечный и верный человек и превосходный моряк...

Так говорил о Бернаре Мопассан. А сам Бернар сказал про себя следующее:

— Думаю, что я был хороший моряк. *Je crois bien que j'étais un bon marin.*

Он сказал это умирая, — это были его последние слова на смертном одре в тех самых Антибах, откуда он выходил на «Бель Ами» 6 апреля 1888 года.

Человек, который видел Бернара незадолго до его смерти, рассказывает:

— В продолжении многих лет Бернар делил бродячую морскую жизнь великого поэта, не расставался с ним до самого рокового отъезда его к доктору Бланш, в Париж.

— Бернар умер в своих Антибах. Но еще недавно видел я его на солнечной набережной маленького Антибского порта, где так часто стояла «Бель Ами».

— Высокий, сухой, с энергичным и продубленным морской солью лицом, Бернар не легко пускался в разговоры. Но стоило только коснуться Мопассана, как голубые глаза его мгновенно оживали, и нужно было слышать, как говорил он о нем!

— Теперь он умолк навеки. Последние его слова были: «Думаю, что я был хороший моряк».

Я живо представляю себе, как именно сказал он эти слова. Он сказал их твердо, с гордостью, перекрестившись черной, иссохшей от старости рукой:

— *Je crois bien que j'étais un bon marin.*

— А что хотел он выразить этими словами? Радость

сознания, что он, живя на земле, приносил пользу ближнему, будучи хорошим моряком? Нет: то, что Бог всякому из нас дает вместе с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю. Зачем, почему? Мы этого не знаем. Но мы должны знать, что все в этом непостижимом для нас мире непременно должно иметь какой-то смысл, какое-то высокое Божье намерение, направленное к тому, чтобы все в этом мире «было хорошо» и что усердное исполнение этого Божьего намерения есть всегда наша заслуга перед Ним, а посему и радость, гордость. И Бернар знал и чувствовал это. Он всю жизнь усердно, достойно, верно исполнял скромный долг, возложенный на него Богом, служил Ему не за страх, а за совесть. И как же ему было не сказать того, что он сказал, в свою последнюю минуту? «Ныне отпускаеши, Владыко, раба Твоего, и вот я осмеливаюсь сказать Тебе и людям: думаю, что я был хороший моряк».

-- В море все заботило Бернара, писал Мопассан: и внезапно повстречавшееся течение, говорящее, что где-то в открытом море идет бриз, и облака над Эстерелем, означающие мистраль на западе... Чистоту на яхте он соблюдал до того, что не терпел даже капли воды на какой-нибудь медной части...

Да, какая польза ближнему могла быть в том, что Бернар сейчас же стирал эту каплю? А вот он стирал ее. Зачем, почему?

Но ведь сам Бог любит, чтобы все было «хорошо». Он сам радовался, видя, что Его творения «весьма хороши».

Мне кажется, что я, как художник, заслужил право сказать о себе, в свои последние дни, нечто подобное тому, что сказал, умирая, Бернар.

1952 г.

II

РОЗА ИЕРИХОНА

В знак веры в жизнь вечную, в воскресение из мертвых, клали на Востоке в древности Розу Иерихона в гроба, в могилы.

Странно, что называли розой да еще розой Иерихона этот клубок сухих колючих стеблей, подобный нашему перекасти-поле, эту пустынную жесткую поросль, встречающуюся только в каменистых песках ниже Мертвого моря, в безлюдных синайских предгорьях. Но есть предание, что назвал ее так сам Преподобный Савва, избравший для своей обители страшную Долину Огненную, нагую, мертвую теснину в Пустыне Иудейской. Символ воскресения, данный ему в виде дикого волчца, он украсил наиболее сладчайшим из ведомых ему земных сравнений.

Ибо он, этот волчек, воистину чудесен. Сорванный и унесенный странником за тысячи верст от своей родины, он годы может лежать сухим, серым, мертвым. Но, будучи положен в воду, тотчас начинает распускаться, давать мелкие листочки и розовый цвет. И бедное человеческое сердце радуется, утешается: нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил когда-то! Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, моя Любовь, Память!

Так утешаюсь и я, воскрешая в себе те светонесные древние страны, где некогда ступала и моя нога, те благословенные дни, когда на полудне стояло солн-

це моей жизни, когда, в цвете сил и надежд, рука об руку с той, кому Бог судил быть моей спутницей до гроба, совершал я свое первое дальнее странствие, брачное путешествие, бывшее вместе с тем и паломничеством во святую землю Господа нашего Иисуса Христа. В великом покое вековой тишины и забвения лежали перед нами ее палестины — доли Галилеи, холмы иудейские, соль и жупел Пятиградия. Но была весна, и на всех путях наших весело и мирно цвели всё те же анемоны и маки, что цвели и при Рахили, красовались те же лилии полевые и пели те же птицы небесные, блаженной беззаботности которых учила евангельская притча...

Роза Иерихона. В живую воду сердца, в чистую влагу любви, печали и нежности погружаю я корни и стебли моего прошлого — и вот опять, опять дивно прозябает мой заветный знак. Отдались, неотвратимый час, когда иссякнет эта влага, оскудеет и иссохнет сердце — и уже навеки покроет прах забвения Розу моего Иерихона.

СКАРАБЕИ

Вижу себя в Каире, в Булакском музее.

Когда входил во двор, пара буйволов медленно влекла к подъезду длинные дроги, на которых высился громадный саркофаг. Усмехнувшись, подумал:

— Еще один великий царь...

Разноцветные гранитные саркофаги, гробы из золотистого лакированного дерева загромождали вестибюль. Пряно, сухо и тонко пахло — священный аромат мумий, как бы сама душа сказочной египетской древности. Но буднично и деловито перекликались, что-то спрашивали друг у друга, что-то кому-то громко приказывали быстро проходившие по звонким коридорам и сбегавшие с главной лестницы чиновники, принимавшие новую партию тысячелетних покойников.

А пройдя между гробами в вестибюле, я вступил в залы, блистающие мертвенной чистотой и полные других гробов. И здесь оно, это тонкое и сухое благоговение, древнее, священное! Долго ходил и опять долго смотрел на маленькие черные мощи Рамзеса Великого в его стеклянном ящике. Да, да, подумать только: вот я возле самого Великого Рамзеса, его подлинного тела, пусть иссохшего, почерневшего, превратившегося в одни кости, но все же его, его!

А рядом — скарабеи Мариетта. Мариетт поместил в особой витрине, разложил в хронологическом порядке все собранные им царские скарабеи, — три-

ста чудесных жучков из ляпис-лазури и серпантина. На этих жучках писали имена усопших царей, их клали на грудь царских мумий, как символ рождающейся из земли и вечно возрождающейся, бессмертной жизни. Мариетт собрал их — и выставил на удивление всему человечеству:

— Вот вся история Египта, вся жизнь его за целых пять тысяч лет.

Да, пять тысяч лет жизни и славы, а в итоге — игрушечная коллекция камешков! И камешки эти — символ вечной жизни, символ воскресения! Горько усмехаться или радоваться?

Все-таки радоваться. Все-таки быть в том во-веки неистребимом и самом дивном, что до сих пор кровно связывает мое сердце с сердцем, остывшим несколько тысячелетий тому назад, с сердцем, на коем тысячелетия покоился этот воистину божественный кусочек ляпис-лазури, — с человеческим сердцем, которое в те легендарные дни так же твердо, как и в наши, отказывалось верить в смерть, а верило только в жизнь. Все пройдет — не пройдет только эта вера!

ПРЕКРАСНЕЙШАЯ СОЛНЦА

— Смерть, где жало твое? Воспомним, что сказала Она, прекраснейшая солнца, возлюбленному своему, представ ему в ту самую ночь, когда предали Ее тело могиле: не плачь обо мне, ибо дни мои через смерть стали вечны; в горнем свете навсегда раскрылись мои вежды, что, казалось, навсегда смежились на смертном моем ложе...

— В лето Господне тысяча триста двадцать седьмое синьор Франческо прибыл в город Авиньон в Провансе, в числе многих прочих, последовавших в изгнание за Святейшим Престолом. Через год же после того случилось, что он встретил на пути своей юной жизни донну Лауру и полюбил Ее великой любовью, приобщившей Ее к лику Беатриче и славнейших женщин мира. В тот год, в шестой день месяца апреля, в пятницу Страстной недели, слушал он утреннюю службу в церкви Сэн-Клэр, в Авиньоне; и вот, когда, отстояв службу, вышел из церкви на площадь, глядя на других выходящих, то увидел донну Лауру, дочь рыцаря Одибера, юную супругу синьора Уго, коего достойный, но обычный образ не удержался в памяти потомства.

Он увидел ее в ту минуту, когда она показалась в церковном портале.

— Та весна была в его жизни двадцать третьей, в Ее — двадцатой. И, если обладал он всей красотой, присущей юным летам, пылкому сердцу и бла-

городству крови, то Ее юная прелесть могла почитаться небесной. Блаженны видевшие Ее при жизни! Она шла, опустив свои черные, как эбен, ресницы; когда же подняла их, солнечный взор Ее порастил его навеки.

Шестой день того апреля был сумрачный, дождливый, один из тех, каких всегда бывает не мало ранней весной в Авиньоне, было и в то время, которое называется теперь древним, и в котором все кажется прекрасным: и весеннее ненастье, и старый каменный город, потемневший под дождями, все его стены, церкви, башни и холодная грязь узких улиц, и все люди, шедшие в них посередине, и вся их жизнь, весь быт, все дела и чувства.

— Это было в час крестной смерти Господа нашего Иисуса, когда само солнце облакается в ретищем скорби.

На страницах Вергилия, своей любимейшей книги, с которой он никогда не расставался, которая всегда лежала у его изголовья, он, в старости, пишет:

— Лаура, славная собственными добродетелями и воспетая мною, впервые предстала моим глазам в мою раннюю пору, в лето Господне тысяча триста двадцать седьмое, в шестой день месяца апреля, в Авиньоне; и в том же Авиньоне, в том же месяце апреля, в тот же шестой день, в тот же первый час, лето же тысяча триста сорок восьмое, угас чистый свет Ее жизни, когда я случайно пребывал в Вероне, увы, совсем не зная о судьбе, меня постигшей: только в Парме настигла меня роковая новость, в том же году, в девятнадцатый день мая, утром. Непорочное и прекрасное тело Ее было предано земле в усыпальнице братьев Меноритов, вечером в день смерти; а душа Ее, верю, возвратилась в небо, свою отчизну. Дабы лучше

сохранить память об этом часе, я нахожу горькую отраду записать о нем в книге, столь часто находящейся перед моими глазами: должно мне знать твердо, что отныне уже ничто не утешит меня в земном мире. Время покинуть мне его Вавилон. По милости Божьей, это будет мне не трудно, памятуя суетные заботы, тщетные надежды и печальные исходы моей протекшей жизни...

Пишут, что в молодости он был силен, ловок, голуу имел небольшую, круглой и крепкой формы, нос средней меры, тонкий, овал лица мягкий и точный, румянец нежный, но здоровый, темный, цвет глаз карий, взгляд быстрый и горячий. «Уже был он известен своим высоким талантом, умом, богатством знаний и неустанными трудами. Уже был одержим той беспримерной любовью, что сделала его имя бессмертным. Но жил, вместе с тем, всеми делами своего века, отдавал свой гений и на созидание всех благих его движений; в обществе отличался расположением к людям, прелестью в обращении с ними, блеском речи в беседах...»

Портрет в Авиньоне изображает его в зрелые годы: capitoлийские лавры, которыми он был коронован, как величайший человек своего века, благородный флорентийский профиль, взгляд, полный мысли и жизни...

В старости он пишет:

— Уже ни о чем не помышляю я ныне, кроме Нее: пусть же торопит Она нашу встречу в небе, влечет и зовет меня за собой!

Но пишет и другое, — в письме к одному другу:

— Я хочу, чтобы смерть застала меня за книгой, с пером в руке, или, лучше, если угодно Богу, в сле-

зах и молитве. Будь здоров и благополучен. Живи счастливо и бодро, как подобает мужу!

Через несколько месяцев после этого письма, 20 июня 1374 года, в день своего рождения, сидя за работой, он «вдруг склонился, уронил голову на свое писанье».

Тот день, когда они впервые увидели друг друга, был роковым и для нее:

— Было и Ее сердце страстно и нежно; но сколь непреклонно в долге и чести, в вере в Бога и Его законы!

— Владычица моя, Она прошла мимо меня, одиноко сидевшего в сладких мыслях о моей любви к Ней. Дабы приветствовать Ее, я встал, смиренно склоняя перед Нею свое побледневшее чело. Я трепетал; Она же продолжала свой путь, сказавши мне несколько ласковых слов.

Двадцать один год он славил земной образ Лауры; еще четверть века — ее образ загробный. Он считал, что за всю жизнь видел ее, в общем, меньше года; но и то все на людях и всегда «облеченную в высшую строгость.» Все же вспоминает он и другое:

— И Она побледнела однажды. Это было в минуту моего отъезда. Она склонила свой божественный лик, Ее молчание, казалось, говорило: зачем покидает меня мой верный друг?

Внешне он жил в радостях и печалях простых смертных; знал и женскую любовь, тоже смертную, простую, не мешавшую другой, «бессмертной», имел двух детей. Имела и она их, супругой была верной и достойной. «Но душа Ее всю жизнь ожидала загробной свободы — для любви Ее к Иному...»

Черная чума 1348 года, в несколько недель поразившая в Авиньоне шестьдесят тысяч человек, поразила и ее. В темный вечер, при смоляных факелах, своим бурным, трещащим пламенем «разгонявших сразу», люди в смоляных балахонах, с прорезами только для глаз, похоронили ее там, где она за три дня до смерти завещала. Ночью же душа ее, наконец обретшая свободу для своей любви «к Иному», поспешила к нему на первое свиданье:

— Ночь, последовавшая за этим зловещим днем, когда угасла звезда, сиявшая мне в жизни, или, точнее сказать, вновь засияла в небе, ночь эта начинала уступать место Авроре, когда некая Красота, столь же дивная, как и Ее земная, коронованная драгоценнейшими алмазами Востока, встала предо мной. И, нежно вздыхая, подала мне руку, столь долго желанную мною; узнай, сказала Она, узнай ту, что навсегда преградила тебе путь в первый же день ее встречи с тобою; узнай, что смерть для души высокой есть лишь исход из темницы, что она устрашает лишь тех, кои все счастье свое полагают в бедном земном мире...

В Парижской Национальной Библиотеке хранится манускрипт Плиния, принадлежавший Петрарке. На одной странице этого манускрипта сделан рукой Петрарки рисунок, изображающий долину Воклюза, скалу, из которой бьет источник, на вершине скалы — часовню, а внизу — цаплю с рыбой в клюве; под рисунком его подпись по-латыни: «Заальпийское мое уединение.»

В этой долине, недалеко от Авиньона, было его скромное поместье.

Где жила когда-то, в этом столь глухом теперь, старом и пыльном Авиньоне Лаура? Будто бы, возле нынешней мэрии, в улочке Дорэ. Погребена она была в

церкви братьев Меноритов, в одной из капелл. Но в какой? Церковь эта разрушена в революционное время, полтора века тому назад; известно, однако, что в ней было две капеллы — Святого Креста и Святой Анны. В которой из них была ее гробница? Полагают, что в последней, так как она была сооружена ее свекром, синьором де Саде. В 1533 году король Франциск Первый, проезжая Авиньон, приказал вскрыть полуразрушенную гробницу, находящуюся в этой капелле, убежденный горожанами Авиньона, что именно в ней покоятся останки Лауры. В гробнице оказались кости. Но чьи? Точно ли Лауры? Имени, написанного на гробнице, прочесть было уже невозможно.

Авиньон, апрель, 1932 г.

ТЕМИР-АКСАК-ХАН

— А-а-а, Темир-Аксак-Хан! — дико вопит переливчатый, страстно и безнадежно тоскливый голос в крымской деревенской кофейне.

Весенняя ночь темна и сыра, черная стена горных обрывов едва различима. Возле кофейни, прилепившейся к скале, стоит на шоссеиной дороге, на белой грязи, открытый автомобиль, и от его страшных, ослепительных глаз тянутся вперед, в темноту, два длинных столпа светлого дыма. Издалека, снизу, доносится шум невидимого моря, со всех сторон веет из темноты влажный беспокойный ветер.

В кофейне густо накурено, она тускло озарена жестяной лампочкой, привешенной к потолку, и нагрета грудой раскаленного жара, рдеющего на очаге в углу. Нищий, сразу начавший песню о Темир-Аксак-Хане мучительным криком, сидит на глиняном полу. Это столетняя обезьяна в овчинной куртке и лохматом бараньем курпее, рыжем от дождей, от солнца, от времени. На коленях у него нечто вроде деревянной грубой лиры. Он согнулся, — слушателям не видно его лица, видны только коричневые уши, торчащие из-под курпея. Изредка вырывая из струн резкие звуки, он вопит с нестерпимой, отчаянной скорбью.

Возле очага, на табурете — женственно полный, миловидный татарин, содержатель кофейни. Он сперва улыбался, не то ласково и чуть-чуть грустно, не то снисходительно и насмешливо. Потом так и застыл с

поднятыми бровями и с улыбкой, перешедшей в страдальческую и недоуменную.

На лавке под окошечком курил хаджи, высокий, с худыми лопатками, седобородый, в черном халате и белой чалме, чудесно подчеркивающей темную смуглость его лица. Теперь он забыл о чубуке, закинул голову к стене, закрыл глаза. Одна нога, в полосатом шерстяном чулке, согнута в колене, поставлена на лавку, другая, в туфле, висит.

А за столиком возле хаджи сидят те проезжие, которым пришлось на ум остановить автомобиль и выпить в деревенской кофейне по чашечке дрянного кофе: крупный господин в котелке, в непромокаемом английском пальто и красивая молодая дама, бледная от внимания и волнения. Она южанка, она понимает по татарски, понимает слова песни... — А-а-а, Темир-Аксак-Хан!

Не было во вселенной славнее хана, чем Темир-Аксак-Хан. Весь подлунный мир трепетал перед ним, и прекраснейшие в мире женщины и девушки готовы были умереть за счастье хоть на мгновение быть рабой его. Но перед кончиною сидел Темир-Аксак-Хан в пыли на камнях базара и целовал лохмотья проходящих калек и нищих, говоря им:

— Выньте мою душу, калеки и нищие, ибо нет в ней больше даже желания желать!

И, когда Господь сжалился наконец над ним и освободил его от суетной славы земной и суетных земных утех, скоро распались все царства его, в запустение пришли города и дворцы, и прах песков замел их развалины под вечно синим, как драгоценная лазурь, небом и вечно пылающим, как адский огонь, солнцем... *А-а-а, Темир-Аксак-Хан! Где дни и дела твои? Где битвы и победы? Где те, юные, нежные, ревнивые, что любили тебя, где глаза, сиявшие точно черные солнца на ложе твоём?*

Все молчат, все покорены песней. Но странно: та отчаянная скорбь, та горькая укоризна кому-то, которой так надрывается она, слаще самой высокой, самой страстной радости.

Проезжий господин пристально смотрит в стол и жарко раскуривает сигару. Его дама широко раскрыла глаза, и по щекам ее бегут слезы..

Посидев некоторое время в оцепенении, они выходят на порог кофейни. Нищий кончил песню и стал жевать, отрывать от тугой лепешки, которую подал ему хозяин. Но кажется, что песня все еще длится, что ей нет и не будет конца.

Дама, уходя, сунула нищему целый золотой, но тревожно думает, что мало, ей хочется вернуться и дать ему еще один — нет, два, три или же при всех поцеловать его жесткую руку. Глаза ее еще горят от слез, но у нее такое чувство, что никогда не была она счастливее, чем в эту минуту, после песни о том, что все суета и скорбь под солнцем, в эту темную и влажную ночь с отдаленным шумом невидимого моря, с запахом весеннего дождя, с беспокойным, до самой глубины души, проникающим ветром.

Шоффер, полулежавший в экипаже, поспешно выскакивает из него, наклоняется в свет от фонарей, что-то делает, похожий на зверя в своей точно вывернутой наизнанку шубке, и машина вдруг оживает, загудев, задрожав от нетерпения. Господин помогает даме войти, садится рядом, покрывая ее колени пледом, она рассеянно благодарит его... Автомобиль несется по раскату шоссе вниз, взмывает на подъем, упираясь светлыми столпами в какой-то кустарник, и опять смахивает их в сторону, роняет в темноту нового спуска... В вышине, над очертаниями чуть видных гор, кажущихся исполинскими, мелькают в жидких облаках звезды, далеко впереди чуть белеет прибором излучина залива, ветер мягко и сильно бьет в лицо...

О, Темир-Аксак-Хан, говорила песня, не было в подлунной отважней, счастливей и славнее тебя, смуглоликий, огнеглазый — светлый и благостный, как Гавриил, мудрый и пышный, как царь Сулейман! Ярче и зеленей райской листвы был шелк твоего тюрдана, и семицветным звездным огнем дрожало и переливалось его алмазное перо, и за счастье прикоснуться кончиком уст к темной и узкой руке твоей, осыпанной индийскими перстнями, готовы были умереть прекраснейшие в мире царевны и рабыни. Но, до дна испив чашу земных утех, в пыли, на базаре сидел ты, Темир-Аксак-Хан, и ловил, целовал рублище проходящих калек:

— Выньте мою страждущую душу, калеки!

И века пронесли над твоей забвенной могилой и пески замели развалины мечетей и дворцов твоих под вечно синим небом и безжалостно радостным солнцем, и дикий шиповник пророс сквозь останки лазурных фаянсов твоей гробницы, чтобы, с каждой новой весной, снова и снова томились на нем, разрывались от мучительно-сладостных песен, от тоски несказанного счастья сердца соловьев... *А-а-а, Темир-Аксак-Хан, где она, горькая мудрость твоя? Где все муки души твоей, слезами и желчью исторгнувшей вон мед земных обольщений?*

Горы ушли, отступили, мимо шоссеиной дороги мчится уже море, с шумом и раковым запахом избегающее на белый хрящ берега. Далеко впереди, в темной низменности, рассыпаны красные и белые огни, стоит розовое зарево города, и ночь над ним и над морским заливом черна и мягка, как сажа.

Париж, 1921.

УЩЕЛЬЕ

Лесистое ущелье, предвечернее время.

Зеленой кудрявой смушкой, зеленым каракулем кажется издали густой лес, покрывающий горные скалы против аула. В лесу кто-то жжет костер, голубой дымок далеко тянется над зеленой смушкой, и его пряный запах мешается с миндальной свежестью леса.

Синее небо над горами бездонно и ясно, — лишь впереди, где ущелье сомкнулось, отвесно стоит в лазури витое из белоснежных клубов облако.

А там, в ауле, непрерывно звучит, восторженно плачет, переливно зовет и вопит роговая дудка: звук горловой, дикий, чарующий и страшный, слушая который, думаешь о горных козлах, о весенней, грозной поре их страсти.

Это танцуют на крыше сакли подростки татары: один стоит, надул губы, выпучил белки — играет на дудке, два других, пристально глядя в глаза друг другу, положив руки друг другу на плечи, подсакивают козлами, крепко топают на одном и том же месте.

Куда, в какую райскую пропасть устремлен их напряженный, радостный, остановившийся взгляд?

На соседней сакле сидит на корточках, вся сжалась и не спускает с них глаз девочка-подросток. Она худенькая, но уже длинная; она еще в одной рубахе, черная головка ее еще раскрыта; но глаза уже дивны и жутки, как у Архангела...

Какое душу раздирающее блаженство в дудочных переливах и воплях!

1930 г.

ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ

На кладбище, над свежей глиняной насыпью стоит новый крест из дуба, крепкий, тяжелый, гладкий.

Апрель, дни серые; памятники кладбища, просторного, уездного, еще далеко видны сквозь голые деревья, и холодный ветер звенит и звенит фарфоровым венком у подножия креста.

В самый же крест вделан довольно большой, выпуклый фарфоровый медальон, а в медальоне — фотографический портрет гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами.

Это Оля Мещерская.

Девочкой она ничем не выделялась в толпе коричневых гимназических платиц: что можно было сказать о ней, кроме того, что она из числа хорошеньких, богатых и счастливых девочек, что она способна, но шаловлива и очень беспечна к тем наставлениям, которые ей делает классная дама? Затем она стала расцветать, развиваться не по дням, а по часам. В четырнадцать лет у нее, при тонкой талии и стройных ножках, уже хорошо обрисовывались груди и все те формы, очарование которых еще никогда не выразило человеческое слово; в пятнадцать она слыла уже красавицей. Как тщательно причесывались некоторые ее подруги, как чистоплотны были, как следили за своими сдержанными движениями! А она ничего не боялась — ни чернильных пятен на пальцах, ни раскрасневшегося лица, ни растрепанных волос, ни заголившегося при падении на бегу колена. Без всяких ее

забот и усилий и как-то незаметно пришло к ней все то, что так отличало ее в последние два года из всей гимназии, — изящество, нарядность, ловкость, ясный блеск глаз... Никто не танцевал так на балах, как Оля Мещерская, никто не бегал так на коньках, как она, ни за кем на балах не ухаживали столько, сколько за ней, и почему-то никого не любили так младшие классы, как ее. Незаметно стала она девушкой, и незаметно упрочилась ее гимназическая слава, и уже пошли толки, что она ветренна, не может жить без поклонников, что в нее безумно влюблен гимназист Шеншин, что будто бы и она его любит, но так изменчива в обращении с ним, что он покушался на самоубийство...

Последнюю свою зиму Оля Мещерская совсем сошла с ума от веселья, как говорили в гимназии. Зима была снежная, солнечная, морозная, рано опускалось солнце за высокий ельник снежного гимназического сада, неизменно погожее, лучистое, обещающее и на завтра мороз и солнце, гулянье на Соборной улице, каток в городском саду, розовый вечер, музыку и эту во все стороны скользящую на катке толпу, в которой Оля Мещерская казалась самой беззаботной, самой счастливой. И вот, однажды, на большой перемене, когда она вихрем носилась по сборному залу от гонявшихся за ней и блаженно визжавших первоклассниц, ее неожиданно позвали к начальнице. Она с разбегу остановилась, сделала только один глубокий вздох, быстрым и уже привычным женским движением оправила волосы, дернула уголки передника к плечам и, сияя глазами, побежала наверх. Начальница, моложавая, но седая, спокойно сидела с вязаньем в руках за письменным столом, под царским портретом.

— Здравствуйте, m-lle Мещерская, — сказала она по-французски, не поднимая глаз от вязанья. — Я, к сожалению уже не первый раз принуждена призывать

вас сюда, чтобы говорить с вами относительно вашего поведения.

— Я слушаю, *madame*, — ответила Мещерская, подходя к столу, глядя на нее ясно и живо, но без всякого выражения на лице, и присела так легко и грациозно, как только она одна умела.

— Слушать вы меня будете плохо, я, к сожалению, убедилась в этом, — сказала начальница и, потянув нитку и завертев на лакированном полу клубок, на который с любопытством посмотрела Мещерская, подняла глаза: — Я не буду повторяться, не буду говорить пространно, — сказала она.

Мещерской очень нравился этот необыкновенно чистый и большой кабинет, так хорошо дышавший в морозные дни теплом блестящей голландки и свежестью ландышей на письменном столе. Она посмотрела на молодого царя, во весь рост написанного среди какой-то блистательной залы, на ровный пробор в молочных, аккуратно гофрированных волосах начальницы и выжидательно молчала.

— Вы уже не девочка, — многозначительно сказала начальница, втайне начиная раздражаться.

— Да, *madame*, — просто, почти весело, ответила Мещерская.

— Но и не женщина, — еще многозначительнее сказала начальница, и ее матовое лицо слегка задело. — Прежде всего, — что это за прическа? Это женская прическа!

— Я не виновата, *madame*, что у меня хорошие волосы, — ответила Мещерская и чуть тронула обеими руками свою красиво убранную голову.

— Ах, вот как, вы не виноваты! — сказала начальница. — Вы не виноваты в прическе, не виноваты в этих дорогих гребнях, не виноваты, что разоряете своих родителей на туфельки в двадцать рублей! Но,

повторяю вам, вы совершенно упускаете из виду, что вы пока только гимназистка...

И тут Мещерская, не теряя простоты и спокойствия, вдруг вежливо перебила ее:

— Простите, *madame*, вы ошибаетесь: я женщина. И виноват в этом — знаете кто? Друг и сосед папы, а ваш брат Алексей Михайлович Малютин. Это случилось прошлым летом в деревне...

А через месяц после этого разговора казачий офицер, некрасивый и плебейского вида, не имевший ровно ничего общего с тем кругом, к которому принадлежала Оля Мещерская, застрелил ее на платформе вокзала, среди большой толпы народа, только что прибывшей с поездом. И невероятное, ошеломившее начальницу признание Оли Мещерской совершенно подтвердилось: офицер заявил судебному следователю, что Мещерская завлекла его, была с ним близка, поклялась быть его женой, а на вокзале, в день убийства, провожая его в Новочеркасск, вдруг сказала ему, что она и не думала никогда любить его, что все эти разговоры о браке — одно ее издевательство над ним, и дала ему прочесть ту страничку дневника, где говорилось о Малютине.

— Я пробежал эти строки и тут же, на платформе, где она гуляла, поджидая, пока я кончу читать, выстрелил в нее, — сказал офицер. — Дневник этот вот он, взгляните, что было написано в нем десятого июля прошлого года.

В дневнике было написано следующее:

«Сейчас второй час ночи. Я крепко заснула, но тотчас же проснулась... Нынче я стала женщиной! Папа, мама и Толя, все уехали в город, я осталась одна. Я была так счастлива, что одна! Я утром гуляла в саду, в поле, была в лесу, мне казалось, что я одна во всем мире, и я думала так хорошо, как никогда в жизни. Я и обедала одна, потом целый час играла,

под музыку у меня было такое чувство, что я буду жить без конца и буду так счастлива, как никто. Потом заснула у папы в кабинете, а в четыре часа меня разбудила Катя, сказала, что приехал Алексей Михайлович. Я ему очень обрадовалась, мне было так приятно принять его и занимать. Он приехал на паре своих вяток, очень красивых, и они все время стояли у крыльца, он остался, потому что был дождь, и ему хотелось, чтобы к вечеру просохло. Он жалел, что не застал папу, был очень оживлен и держал себя со мной кавалером, много шутил, что он давно влюблен в меня. Когда мы гуляли перед чаем по саду, была опять прелестная погода, солнце блестело через весь мокрый сад, хотя стало совсем холодно, и он вел меня под руку и говорил, что он Фауст с Маргаритой. Ему пятьдесят шесть лет, но он еще очень красив и всегда хорошо одет — мне не понравилось только, что он приехал в крылатке, — пахнет английским одеколоном, и глаза совсем молодые, черные, а борода изящно разделена на две длинные части и совершенно серебряная. За чаем мы сидели на стеклянной веранде, я почувствовала себя как будто нездоровой и прилегла на тахту, а он курил, потом пересел ко мне, стал опять говорить какие-то любезности, потом рассматривать и целовать мою руку. Я закрыла лицо шелковым платком, и он несколько раз поцеловал меня в губы через платок... Я не понимаю, как это могло случиться, я сошла с ума, я никогда не думала, что я такая! Теперь мне один выход... Я чувствую к нему такое отвращение, что не могу пережить этого!..»

Город за эти апрельские дни стал чист, сух, камни его побелели, и по ним легко и приятно идти. Каждое воскресенье, после обедни, по Соборной улице, ведущей к выезду из города, направляется маленькая женщина в трауре, в черных лайковых перчат-

ках, с зонтиком из черного дерева. Она переходит по шоссе грязную площадь, где много закопченных кузниц и свежо дует полевой воздух; дальше, между мужским монастырем и острогом, белеет облачный склон неба и сереет весеннее поле, а потом, когда проберешься среди луж под стеной монастыря и повернешь налево, увидишь как бы большой низкий сад, обнесенный белой оградой, над воротами которой написано Успение Божией Матери. Маленькая женщина мелко крестится и привычно идет по главной аллее. Дойдя до скамьи против дубового креста, она сидит на ветру и на весеннем холоде час, два, пока совсем не зазябнут ее ноги в легких ботинках и рука в узкой лайке. Слушая весенних птиц, сладко поющих и в холод, слушая звон ветра в фарфоровом венке, она думает иногда, что отдала бы полжизни, лишь бы не было перед ее глазами этого мертвого венка. Этот венок, этот бугор, дубовый крест! Возможно ли, что под ним та, чьи глаза так бессмертно сияют из этого выпуклого фарфорового медальона на кресте и как совместить с этим чистым взглядом то ужасное, что соединено теперь с именем Оли Мещерской? — Но в глубине души маленькая женщина счастлива, как все преданные какой-нибудь страстной мечте люди.

Женщина эта — классная дама Оли Мещерской, не молодая девушка, давно живущая какой-нибудь выдумкой, заменяющей ей действительную жизнь. Сперва такой выдумкой был ее брат, бедный и ничем не замечательный прапорщик, — она соединила всю свою душу с ним, с его будущностью, которая почему-то представлялась ей блестящей. Когда его убили под Мукденом, она убеждала себя, что она — идейная труженица. Смерть Оли Мещерской пленила ее новой мечтой. Теперь Оля Мещерская — предмет ее неотступных дум и чувств. Она ходит на ее могилу

каждый праздник, по часам не спускает глаз с дубового креста, вспоминает бледное личико Оли Мещерской в гробу, среди цветов — и то, что однажды подслушала: однажды, на большой перемене, гуляя по гимназическому саду, Оля Мещерская быстро, быстро говорила своей любимой подруге, полной, высокой Субботиной:

— Я в одной папиной книге, — у него много старинных, смешных книг, — прочла, какая красота должна быть у женщины... Там, понимаешь, столько насказано, что всего не упомнишь: ну, конечно, черные, кипящие смолой глаза, — ей-Богу, так и написано: кипящие смолой! — черные, как ночь, ресницы, нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного руки, — понимаешь, длиннее обыкновенного! — маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно округленная икра, колена цвета раковины, покатые плечи, — я многое почти наизусть выучила, так все это верно! — но главное, знаешь ли что? — Легкое дыхание! А ведь оно у меня есть, — ты послушай, как я вздыхаю, — ведь, правда, есть?

Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре.

1916 г.

ГОТАМИ

Повесть, трижды прекрасная своей краткостью и скромностью, повесть о Готами, которая, сама того не ведая, пришла под сень Благословенного.

Так слышали мы:

В людном селении, в счастливой местности, у подножия великих Гималаев, в семье бедной, но достойной, родилась Готами.

Высока ростом и на вид худощава была она, а душой проста, нетребовательна, и соседи дали ей недоброе прозвище: «Готами Тощая» прозвали они ее, но она не обиделась. И всякому приказанию была она послушна и на всякое приказание отзывалась так:

— Хорошо, милый господин, я сделаю. Хорошо, милая госпожа, я сделаю.

Да простится нам слово: неумна была среди людей Готами. Но и глупого не говорила она, — может быть, потому, что никогда не говорила она много и с утра до вечера что-нибудь работала. И одежда на ней была бедная и все одна и та же, но всегда опрятная. И вот юноша, весьма богатый и красивый, сын великого царя той местности, увидел ее на берегу реки, когда мыла она белье своих сестер и братьев, и понял, что она не умна и покорна и что никто не заступится за нее, — даже родители.

Так думал он:

— Что ж делать, скажут ее родители, неумна Готами, нехороша Готами, не на дочь нашу, а на служанку похожа она, — кто возьмет ее замуж? Рано

или поздно все равно покорится она мужчине, который пожелает ее: не умеет отказывать Готами. Ах, если бы был тот мужчина не безжалостный и давал на воспитание ребенка, что родит она!

Так подумал царский сын, юноша.

А Готами, вымыв и выполоскав белье, села на корточки над блестящей от солнца водой, сняв с себя одежду, весь свой стан от подмышек до колен завернув ею, распустила свои длинные черные волосы, стала чистить размоченной щепочкой свои белые зубы, стала мыть свои смуглые ноги, не зная, что царский сын смотрит на нее из-за бамбуковых кустов. И тогда он окликнул ее и, подходя, сказал ей с усмешкой, но ласково:

— Ты мила, Готами, и совсем не такая тощая, как говорят про тебя: о девушке в простой одежде и высокого роста часто судят неправильно. Я слышал, Готами, что ты покорная. Не противься же мне, никто не увидит наших ласк в этот жаркий час над пустой рекой.

И Готами смутилась перед ним, перед его уверенностью в правоте его желания, и прошептала в ответ: — Хорошо, милый господин, будет по твоему.

И царский сын, наслаждаясь ею, увидел, что она лучше, чем казалась, и что темные глаза ее, хотя и не выражают мысли и как будто всегда одинаковы, полны очарования. И после того стали часты их встречи на берегу реки в роще бамбуков, и всегда было так, что, когда бы ни приказал царский сын прийти к нему, всегда приходила Готами без послушания и не менялась в своей покорности и прелести при телесном сближении, а при краткой беседе — в приветливости. И по истечении положенного времени почувствовала себя беременной. И тогда царский сын взял ее к себе в наложницы, перевез ее с ее бедной укладкой, где хранилось ее скромное добро, жалкий достаток

рабочей девушки, в свой богатый дворец, и она прожила во дворце всю пору своего бремени.

Когда же приблизился день, одна из царских домоправительниц сказала ей:

— Готами. Жена, готовая стать матерью, уходит рожать, во исполнение обычая, в свой отчий дом. Но ты не жена, а наложница. Не ходи же в дом родителей, но и не нарушай пристойности.

И Готами поклонилась ей, встала и вышла за калитку глиняной ограды дворца.

И, перейдя деревянный мост через мутный канал, бывший по близости, увидела сидящего под деревом, с чашкой в руке, слепого и древнего нищего, только по поясу препоясанного грязной тряпицею, руки же свои, ноги, грудь и сухую, блестящую спину подставившего зною и мухам.

И нищий поднял свое незрячее лицо, прислушиваясь к ее шагам, и улыбнулся нежной и горькой улыбкой старческой мудрости:

— Готами! — сказал он ей. — Не вижу тебя, но чувствую твое приближение. Готами, будь благословенна стезя твоя!

И она поцеловала колено нищего и продолжала свой путь и на пути, в жарких солнечных рощах, среди атласовых деревьев, родила свое дитя.

И блаженно, со слезами радости, отдохнув от своего мучения, возвратилась с ребенком на руках во дворец царевича и предалась чувству непрестанного восторга и умиления, чувству телесной любви к рожденному, сладкой тревоге видеть, обонять, осязать и прижимать к своей груди это растущее и с каждым днем все более пробуждающееся для мысли и сознания существо.

— «Вспомнила тебя душа моя!» — этих нежных слов не сказал Готами юноша, сближаясь с ней, хотя и была она мила ему, хотя и везли ее в царский дво-

рец с музыкой, на быках, украшенных цветами и лентами, нарядив ее точно к венцу, гладко причесав ее черные волосы, нарумянив лицо и подсурмив ресницы.

И Готами, родив дитя, покорно приняла охлаждение к ней юноши и устранилась от глаз его, дабы не испытывал он смущения и виновности, случайно встречая ее.

И, оставшись жить в ограде дворца, поселилась в простой хижине на берегу прудов, приняв на себя обязанность кормить лебедей, плававших в тех прудах среди трав и цветов.

И была до времени счастлива, приуговорясь, сама того не ведая, к тем великим скорбям, что должны были придти на законную смену этому счастью и направить ее на путь едино истинный, в среду Братии Желтого Облачения.

Блаженны смиренные сердцем, расторгшие Цепь.

В обители высокой радости живем мы, ничего в этом мире не любящие и подобные птице, которая несет с собой только крылья.

1919 г.

КАЗИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ

На пожелтевшей визитной карточке с дворянской короной молодой швейцар гостиницы «Версаль» кое-как прочел только имя-отчество: Казимир Станиславович; дальше следовало нечто еще более трудное для произношения. Повертев карточку в руках, он заглянул в паспорт, поданный приезжим вместе с нею, пожал плечом, — никто из приезжающих в «Версаль» не предъявлял визитных карточек, — бросил то и другое в столик и опять стал глядеться в серебристо-молочное зеркальце над столиком, взбивая гребешком свои густые волосы. Был он в поддевке и расчищенных сапогах, золотой позумент на его картузе был засален, — гостиница была скверная.

Казимир Станиславович выехал из Киева в Москву восьмого апреля, по чьей-то телеграмме, заключавшей в себе только одно слово: «десятого». Деньги у него откуда-то взялись, сел он в купэ второго класса, серое, тусклое, но, верно, дававшее ему ощущение роскоши, комфорта. В дороге топили, и это вагонное тепло, запах калорифера и тугое постукивание молоточков в нем могли напомнить Казимиру Станиславовичу другие времена. Порой казалось, что вернулась зима, белая, очень белая метель заносила в полях щетину рыжих жнивий и большие свинцовые лужи, где плавали дикие утки: но метель эта часто и неожиданно прекращалась, таяла, поля прояснялись, за облаками чувствовалось много света, а на станциях чернели мокрые платформы и кричали в голых

тополях грачи. Казимир Станиславович на каждой большой станции выходил к буфету, возвращался в вагон с газетами в руках, но не читал их, а сидел и тонул в дыму своих толстых папирос, горевших жарко, с искрами, и ни с кем из соседей, — одесских евреев, всю дорогу игравших в карты, — не говорил ни слова. На нем было осеннее пальто с обитыми карманами, очень старый креповый цилиндр и новая, но грубая, базарная обувь. Руки его, характерные руки привычного пьяницы и давнего жильца подвалов, зажигая спички, тряслись. О бедности и пьянстве свидетельствовало и все прочее: отсутствие манжет, заношенный бумажный воротничок, ветхий галстук, воспаленное и до нельзя измятое лицо, ярко-голубые слезящиеся глаза. Баки его были крашены плохой коричневой краской, вид имели неестественный. Глядел он устало и презрительно.

В Москву поезд пришел на другой день совсем не во время, опоздал на целых семь часов. Погода была неопределенная, но лучше и суше киевской, с чем-то волнующим в воздухе. Казимир Станиславович взял извозчика без торга и велел везти себя прямо в «Версаль». «Я, брат, — сказал он, неожиданно нарушая свое молчание, — эту гостиницу еще со студенческих времен знаю». — Из «Версаля», как только внесли в номер его корзинку, перевязанную толстой веревкой, от тотчас же вышел.

Вечерело, воздух был тепел, зеленели черные деревья на бульварах, всюду было много народа... Одиноко человеку, прожившему и погубившему свою жизнь, в весенний вечер в чужом людном городе! — Казимир Станиславович пешком прошел весь Тверской бульвар, снова увидел вдали чугунную фигуру задумавшегося Пушкина, золотые и сиреневые главы Страстного монастыря... В кофейне Филиппова он пил шоколад, рассматривал истрепанные юмористи-

ческие журналы. Выйдя, постоял в нерешительности, глядя на огненную сквозную вывеску кинематографа, сиявшую вдали по Тверской в синеющих сумерках. Потом поехал в ресторан на бульваре, тоже знакомый со студенческих времен. Вез его старик, согнутый в дугу, печальный, сумрачный, глубоко погруженный в себя, в свою старость, в свои мутные думы, мучительно и нудно помогавший всю дорогу своей ленивой лошади всем существом своим, все время что-то бормотавший ей, иногда ядовито укорявший ее, и наконец довез, — свалил с плеч очередную тяжесть и глубоко вздохнул, принимая деньги.

— А я не разобрал, думал, тебе в «Брагу», — медленно поворачивая лошадь, проговорил он даже как будто недовольно, хотя «Прага» была дальше.

— Помню, старик, и «Прагу» — ответил Казимир Станиславович. — А давно ты, верно, едешь по Москве!

— Езжу-то? — спросил старик. — Пятьдесят второй год езжу...

— Значит, может быть, и меня возил, — сказал Казимир Станиславович.

— Может, и возил, — ответил старик сухо. — На свете народу много, всех вас не упомнишь...

От прежнего ресторана, известного Казимиру Станиславовичу, осталось одно звание. Теперь это был большой, низкопробный ресторан. Над подъездом горел электрический шар, гелиотроповым, неприятным светом озарявший лихачей второго сорта, наглых и беспощадных к своим запаленным, костлявым рысакам, тяжело ревушим на бегу. В сырых сенях стояли горшки с тропическими растениями, из тех, что переезжают с похорон на свадьбы и обратно. В лакейской к Казимиру Станиславовичу кинулось сразу несколько человек и все с такими же густыми клубами волос, как у швейцара «Версаля». В боль-

шом зеленоватом зале со множеством широких зеркал и с малиновой лампадкой, теплившейся в углу, было еще пусто и зажжено всего несколько рожков. Казимир Станиславович долго сидел один. Чувствовалось, что еще не совсем стемнел за окнами в белых шторах долгий весенний вечер, слышалось с улицы цокание копыт по мостовой; однообразно плескался среди зала фонтанчик в аквариуме, где ходили облезлые золотые рыбки, откуда-то снизу, сквозь воду, освещенные. Белый половой подал прибор, хлеб, графинчик холодной водки. Казимир Станиславович стал пить водку без закуски, давил ее во рту, прежде чем проглотить, а проглотив, стискивал зубы и как будто с отвращением нюхал черный хлеб. Вдруг, даже испугав его, загрохотала на весь зал и запела машина — смесь из русских песен, то преувеличенно бурных, бесшабашных, то не в меру нежных, протяжных, задумчиво-грустных... И у Казимира Станиславовича покраснели глаза, подернулись слезами.

Потом седой, кудрявый грузин принес ему на железной пике полусырой пахучий шашлык, с каким-то развратным щегольством срезал мясо на тарелку и, для пущей азиатской простоты, собственноручно посыпал луком, солью и ржавым порошком барбариса, меж тем как машина гремела в пустом зале подмивающим к едким изгибам и подскакиваниям кэкуоком... Потом подавали Казимиру Станиславовичу рокфор, красное вино, кофе, нарзан, ликеры... Машина давно смолкла. Вместо нее играл на эстраде оркестр немок в белых платьях, освещенный и все наполнявшийся народом зал нагрелся, потускнел от табачного дыма, густо насытился запахом кушаний; половые носились вихрем, пьяные требовали сигар, от которых их тошнило; метрдотели расточали крайнюю заботливость, соединенную с напряженным соблюдением собственного достоинства; в зеркалах, в их мут-

но-водянистых безднах отражалось что-то огромное, шумное, сложное; Казимир Станиславович несколько раз выходил из жаркого зала в прохладные коридоры, в холодную уборную, где странно пахло морем, шел точно по воздуху и, возвратясь, снова требовал вина. Во втором часу, закрывая глаза и сквозь ноздри втягивая в свою одурманенную голову ночную свежесть, он летел на лихаче, на высокой пролетке с дутыми шинами, за город, в публичный дом, видел вдаль бесконечные цепи поздних огней, убежавших куда-то под гору и снова поднимавшихся в гору, но видел так, точно это был не он, а кто-то другой; в публичном доме он чуть не подрался с каким-то полным господином, который, наступая на него, кричал, что его знает вся мыслящая Россия; потом одетый лежал на широкой постели, покрытой стеганным атласным одеялом, в небольшой комнате, полуосвещенной с потолка голубым фонарем, приторно пахнувшей душистым мылом, с платьями, навешанными на крюк на двери; возле постели стояла ваза с фруктами; девушка, обязанная занимать Казимира Станиславовича, молча, жадно, со вкусом ела грушу, обрезая ее ножичком, а ее подруга, с голыми толстыми руками, в одной рубашке, делавшей ее похожей на девочку, быстро писала письмо на туалетном столике, не обращая на них никакого внимания; она писала и плакала — о чем? На свете народу много, всего не узнаешь...

Десятого апреля Казимир Станиславович проснулся поздно. Судя по тому, как испуганно открыл он глаза, можно было понять, что его на мгновение ошеломила мысль о том, что он в Москве и то, что было вчера. Он вернулся не ранее пятого часа. Он шатался, поднимаясь по лестнице «Версаля», однако без ошибки пошел к своему номеру по длинному вонючему туннелю коридора, где только в самом нача-

ле сонно коптила лампочка. Возле всех номеров стояли сапоги и башмаки, — все людей чужих, неизвестных друг другу. Внезапно одна дверь, пахнув на Казимира Станиславовича почти ужасом, растворилась, на пороге ее появился старик в халате, похожий на плохого актера, играющего «Записки сумасшедшего», и Казимир Станиславович увидел лампу под зеленым колпаком и тесно заставленную комнату, берлогу одинокого, старого жильца, с образами в углу и несчетными коробками из-под папиросных гильз, чуть не до потолка наложенными одна на другую возле образов... Неужели это был тот самый полоумный составитель жизнеописаний угодников, что жил в «Версале» двадцать три года тому назад? — В темном номере Казимира Станиславовича было страшно душно от какой-то едкой и пахучей суши. Свет слабо проникал в темноту из окна над дверью. Казимир Станиславович зашел за перегородку, снял цилиндр со своих очень редких, нафиксатуренных волос, кинул пальто в изголовье голой кровати... Все закружилось под ним, как только он лег, понеслось в пропасть, и он мгновенно заснул. Во сне все время чувствовал он смрад железного умывальника, стоявшего возле самого его лица, а видел весенний день, деревья в цвету, зал большого барского дома и множество народа, со страхом ожидавшего, что вот-вот придет митрополит, и это ожидание мучило, томило его всю ночь. Теперь по коридорам «Версаля» звонили, бежали, перекрикивались. За перегородкой, сквозь двойные пыльные стекла, светило солнце, было жарко... Казимир Станиславович снял пиджак, позвонил и стал умываться. Прибежал коридорный, востроглазый мальчишка с лисьим пухом на голове, в сюртуке и розовой косоворотке.

— Калач, самовар и лимон, — сказал Казимир Станиславович, не глядя на него.

— Чай, сахар наш прикажете? — с московской бойкостью спросил коридорный.

И через минуту влетел с кипящим самоваром на ладони возле плеча, мгновенно раскинул по круглому столу перед диваном скатерть, поднос со стаканом и полоскательницей, стукнул по подносу ножками самовара... Казимир Станиславович, пока настаивался чай, бессознательно развернул «Московский Листок», подсунутый коридорным вместе с самоваром; взгляд его упал на заметку о том, что вчера где-то поднят в бессознательном состоянии неизвестный человек... «Пострадавший отправлен в больницу», прочел он и бросил газету. Он чувствовал себя очень зыбко, плохо. Поднявшись, он открыл окно, — оно выходило во двор, — и на него запахло свежестью и городом, понеслись изысканно-певучие крики разносчиков, звонки гудящих за противоположным домом конок, слитный треск экипажей, музыкальный гул колоколов... Город уже давно жил своей шумной, огромной жизнью в этот яркий весенний день. Выдавив в стакан с чаем целый лимон, с жадностью выпив эту мутную кислую жидкость, Казимир Станиславович опять ушел за перегородку. «Версаль» затих. Взгляд лениво скользил по конторскому объявлению на стене: «Пробывши три часа, считается за сутки»; мышь гремела в комод, катая кусок сахара, оставленный каким-нибудь проезжим... Так, в полудремоте, Казимир Станиславович пролежал за перегородкой до тех пор, пока солнце не скрылось из комнаты и не потянуло в окно другой свежестью, уже предвечерней.

Тогда он тщательно привел себя в порядок: развязал корзинку, переменял белье, достал дешевенький, но чистый носовой платок, обмахнул щеткой лоснящийся сюртук, цилиндр и пальто, вынул из его продранного кармана и кинул в угол затертую киевскую газету от пятнадцатого января... Одевшись и

расчесав красящим гребнем баки, он подсчитал свои средства, — в кошельке его оставалось всего четыре рубля семь гривен, — и вышел. Ровно в шесть он был возле низенькой старинной церковки на Молчановке. За церковной оградой мелкой зеленью зеленело развесистое дерево, играли дети, — у одной худенькой девочки, прыгавшей через веревочку, все спадал черный чулочек, — и сидели на скамье, перед колясочками со спящими младенцами, кормилицы в русских нарядах. Все дерево трещало воробьями, воздух был мягок, — совсем, совсем летний, даже пылью пахло по летнему, — и нежно золотилось вдали за домами небо над закатом, и чувствовалось, что в мире есть где-то радость, молодость, счастье. В церкви уже горела люстра и стоял налой, перед налоем лежал коврик. Казимир Станиславович осторожно, стараясь не испортить прически, снял цилиндр, вступил в церковь несмело, — он не бывал в церквях уже лет тридцать, — и поместился в уголке, но так, чтобы ему было видно венчающихся. Он оглядывал расписные своды, поднимал глаза в купол, и каждое его движение, каждый вздох звучно отдавался в тишине. Церковь, блестя своим золотом, выжидательно потрескивала свечами. И вот, крестясь, но свободно, привычно стали входить священнослужители, певчие, потом старухи, дети, свадебные нарядные гости и озабоченные шафера. Когда же послышался шум возле паперти, захрустела колесами подъехавшая карета, и все обратились ко входу и грянула встреча: — «Гряди, голубица моя!» — Казимир Станиславович покрылся от сердцебиения смертельной бледностью и невольно двинулся вперед. И близко, близко прошла мимо него, даже фатой своей его коснулась и ландышем овевая та, которая даже не знала о его существовании на свете, прошла, склонив свою прелестную голову, вся в цветах и сквозном газе, вся белоснеж-

ная и непорочная, как принцесса, идущая к первому причастию... Жениха, встретившего ее, низенького, широкоплечего, с желтым плоским бобриком на темени, Казимир Станиславович едва видел. И за все время венчания только одно было перед его глазами: склоненная, в цветах и фате, голова и маленькая рука, с дрожью державшая горящую свечу, перевитую белой лентой с бантом...

В десятом часу вечера он был опять дома. Все пальто его пропахло весенним воздухом: после того как, выйдя из церкви, увидал он у паперти зеркальное, отражавшее закат стекло кареты, белоатласной внутри, и в последний раз мелькнуло за этим стеклом лицо той, которую навсегда увозили от него куда-то, он долго скитался по каким-то переулкам, выходил на Новинский бульвар... Теперь он медленно снял с себя пальто трясущимися руками, положил на стол бумажный мешочек с двумя зелеными огурцами, зачем-то купленными им с лотка разносчика. От них пахло весной даже сквозь бумагу, и по-весеннему, жидко серебрился в верхнее стекло окна апрельский месяц, высоко стоявший на еще нестемневшем небе. Казимир Станиславович зажег свечу, печально осветил свой пустой, случайный приют, сел на диван, ощущая на лице своем вечернюю свежесть... Так просидел он очень долго. Он не звонил, ничего не требовал, заперся на ключ, — все это показалось подозрительным коридорному, видевшему, как он, шаркая ногами, входил в номер, как вынимал ключ из двери, чтобы запереться изнутри. Коридорный несколько раз пробирался на цыпочках к его двери и смотрел в замочную скважину: Казимир Станиславович сидел на диване и, трясясь и вытирая платком лицо, плакал так горько, так обильно, что с бакенбард его сходила и размазывалась по щекам коричневая краска.

Ночью он сорвал шнур с оконной шторы и, ни-

чего не видя от слез, стал привязывать его к крюку вешалки. Но догоревшая свеча жутко полыхала, по запертому на ключ номеруплыли и дрожали страшные темные волны... Нет, умереть от своей руки он был не в силах!

Утром он уехал на вокзал часа за три до поезда. На вокзале он тихо ходил среди пассажиров с опущенными глазами, неожиданно приостанавливался то перед тем, то перед другим и вполголоса, ровно, без выражения, но довольно быстро говорил:

— Ради Бога... Нахожусь в безвыходном положении... На билет до Брянска... Хотя несколько копеек...

И некоторые, стараясь не глядеть на его цилиндр, вытертый бархатный воротник пальто и на ужасное лицо с обливавшимися фиолетовыми баками, торопясь и конфузясь, давали ему.

А потом он смешался с толпой, кинувшейся к выходу на платформу, и исчез в ней, меж тем как в «Версале», в номере, двое суток как бы принадлежавшем ему, выносили ведро из умывальника, распахивали на апрельское солнце окна и, грубо двигая стульями, выметали, вышвыривали сор, а вместе с сором — его разорванную записку, забытую им вместе с огурцами, упавшую под стол, под спустившуюся скатерть:

«В смерти моей прошу никого не винить.»

1916 г.

РОМАН ГОРБУНА

Горбун получил анонимное любовное письмо, приглашение на свидание:

— Будьте в субботу пятого апреля в семь часов вечера, в сквере на Соборной площади. Я молода, богата, свободна и — к чему скрывать! — давно знаю, давно люблю вас, ваш гордый и печальный взор, ваш благородный, умный лоб, ваше одиночество... Я хочу надеяться, что и Вы найдете, быть может, во мне душу, родную Вам... Мои приметы: серый английский костюм, в левой руке шелковый лиловый зонтик, в правой — букетик фиалок...

Как он был потрясен, как ждал субботы: первое любовное письмо за всю жизнь! В субботу он сходил к парикмахеру, купил новые (сиреневые) перчатки, новый (серый с красной искрой, под цвет костюму) галстух; дома, наряжаясь перед зеркалом, без конца перевязывал этот галстух своими длинными, тонкими пальцами, холодными и дрожащими; на щеках его, под тонкой кожей, разлился красивый, пятнистый румянец, прекрасные глаза потемнели... Потом, нарядженный, он сел в кресло, — как гость, как чужой в своей собственной квартире, — и стал ждать рокового часа. Наконец в столовой важно, грозно пробило шесть с половиной. Он содрогнулся, поднялся, все-таки сдержанно, не спеша надел в прихожей весеннюю шляпу, взял трость и медленно вышел. Но на улице уже не мог владеть собой — зашагал своими длин-

ными и тонкими ногами быстрее, со всей вызывающей важностью, присущей горбу, но объятый тем блаженным страхом, с которым всегда предвкушаем мы счастье. Когда же быстро вошел в сквер возле собора, вдруг оцепенел на месте: навстречу ему, в розовом свете весенней зари, важными и длинными шагами шла в сером костюме и хорошенькой шляпке, похожей на мужскую, с зонтиком в левой руке и с фиалками в правой, — горбунья.

Беспощаден кто-то к человеку!

1930 г.

С Л О Н

Худенькая, живоглазая девочка, похожая на лисенка, необыкновенно милая от голубой ленточки, бантом которой схвачены на темени ее белобрысые волосики, во все глаза смотрит в зверинце на пока-тую шершавую громаду слона, тупо и величаво обра-щенную к ней большой, широколобой головой, ло-пухами облезлых ушей, голо торчащими клыками и толстой, горбатой трубой низко висящего хобота с черно-резиновой воронкой на конце. Тонким голо-ском:

— Мама, отчего у него ноги распухли?

Мама смеется. Но смеется и сам слон. Склоняя ши-роколобую голову, смотрит и он на девочку, и в его свиных глазках явно блещет что-то хитрое и веселое. Он от удовольствия весь раскачивается, начинает волновать хобот — и вдруг, в трогательной беспо-мощности, в невозможности иначе выразить свои чувства и мысли, крутым нагибом взывает его квер-ху, показывая его исподнюю влажно-телесную мякоть, рога обнаженных клыков и нелепо-маленький рот меж-ду ними, с мучительным наслаждением катит из своих страшных недр глухой гром, рокот, потом мощно и радостно-глупо трубит, сотрясая весь зверинец.

А за обедом прибавили цветную капусту и были гости, — полнеющая, но еще моложавая и красивая дама с черноглазым мальчиком, очень молчаливым и внимательным.

И мама рассказала о слоне и о том, как спросила девочка о его ногах. И девочка поняла, что она сказала смешно и что ею восхищаются, и стала изгибаться, вертеть головкой, неожиданно и не в меру звонко захохотала.

— Прелестный ребенок! — задумчиво сказала дама, без стеснения глядя на нее.

И она заболтала ногами и капризно повторила:

— Нет, мама, правда: отчего у него ноги распухли?

Но мама улыбнулась уже нарочно и заговорила с дамой о чем-то другом, совсем неинтересном. И тогда, искоса поглядывая на мальчика, девочка ерзула со стула, подбежала к буфету и, чтобы опять обратить на себя внимание, стала пить воду прямо из горлышка графина, задыхаясь, булькая и обливая себе подбородок. А когда совсем облилась и захлебнулась, бросила и заплакала.

1930 г.

И Д О Л

Как всегда зимой, в московском Зоологическом саду было и в ту зимулюдно, оживленно: на катке с трех часов играла музыка и туда шло и там толпилось и каталось множество народу. А по дороге на каток все на минуту приостанавливались и любопытно глядели на то, что представлялось их глазам в одном из загонов возле дороги: все прочие загоны, равно как и всякие искусственные гроты, хижины и павильоны, раскинутые на снежных лугах сада, были пусты и, как все пустое, печальны — все странные звери и птицы, населявшие сад, зимовали в теплых помещениях, но этот загон не пустовал, и было в нем нечто еще более необыкновенное, чем всякие пеликаны, газели, утконосы: там стоял эскимосский чум, похаживал и порой бил в снег копытом тонкой ноги, что-то искал под ним большой, бородатый буланый олень, гладкозадый и куций, коронованный высокими и тяжкими лопастями серых рогов, — зверь мощный и весь какой-то твердый, жесткий, как все северное, полярное, — а возле чума, прямо на снегу, сидел, поджав под себя короткие скрещенные ноги в пегих меховых чулках, торчал раскрытой головой из каляного мешка оленьей шкуры не то какой-то живой идол, не то просто женоподобный, безбородый дикий мужик, у которого почти не было шеи, плоский череп которого поражал своей крепостью и густотой крупных и прямых смоляных волос, а медно-желтое лицо, широкоскулое и узкоглазое, своей нечеловеческой тупостью,

хотя как будто и смешанной с грустью; и занимался этот идол только тем, что с трех часов до позднего вечера сидел себе на снегу, не обращая внимания на толпящийся перед ним народ, и от времени до времени давал представление: меж его колен стояли две деревянные миски, — одна с кусками сырой конины, а другая с черной кровью, — и вот он брал кусок конины своей короткой ручкой, мокал ее в кровь и совал в свой рыбий рот, глотал и облизывал пальцы, всему прочему совсем не соответственные: небольшие, тонкие и даже красивые...

В ту зиму, в числе прочих, ходивших на каток в московском Зоологическом саду и мимоходом смотревших на такую удивительную разновидность человека, были жених и невеста, студент и курсистка. И так на весь век и запомнились им те счастливые дни: снежно, морозно, деревья в Зоологическом саду кудряво обросли инеем, точно серыми кораллами, с катка долетают такты вальсов, а он сидит и все сует себе в рот куски мокрого и черного от крови мяса, и ничего не выражают его темные узкие глазки, его плоский желтый лик.

1930 г.

ТЕЛЯЧЬЯ ГОЛОВКА

Мальчик, лет пяти, веснущатый, в матроске, тихо, как замороженный, стоит в мясной лавке: папа пошел служить на почту, мама на рынок и взяла его с собой.

— У нас нынче будет телячья головка с петрушкой, — сказала она, и ему представилось что-то маленькое, хорошенькое, красиво осыпанное яркой зеленью.

И вот он стоит и смотрит, со всех сторон окруженный чем-то громадным, красным, до полу висящим с железных ржавых крючьев короткими, обрубленными ногами и до потолка возвышающимся безголовыми шеями. Все эти громады спереди зияют длинными пустыми животами в жемчужных слитках жира, а с плечей и бедер блещут тонкой пленкой подсохшего тучного мяса. Но он в оцепенении смотрит только на головку, которая оказалась лежащей прямо перед ним, на мраморной стойке. Мама тоже смотрит и горячо спорит с хозяином лавки, тоже огромным и тучным, в грубом белом переднике, гадко испачканном на животе точно ржавчиной, низко подпоясанным широким ремнем с висящими толстыми сальными ножами. Мама спорит именно о ней, о головке, и хозяин что-то сердито кричит и тычет в головку мягким пальцем. О ней спорят, она же лежит неподвижно, безучастно. Бычий лоб ее ровен, спокоен, мутно-голубые глаза полузакрыты, крупные ресницы сонны, а ноздри и губы так раздуты, что вид имеют наг-

лый, недовольный... И вся она гола, серо-телесна и упруга, как резина...

Затем хозяин одним страшным ударом топора раскроил ее на две половины и одну половину, с одним ухом, одним глазом и одной толстой ноздрей швырнул в сторону мамы на хлопчатую бумагу.

1930 г.

П И Н Г В И Н Ы

Началось с того, что мне стало опять тридцать лет, — я увидел и почувствовал себя именно в этой счастливой поре; я опять был в России того времени и во всем, что было присуще тому времени, и сидел в вагоне, ехал почему-то в Гурзуф... Затем я почувствовал, что меня что-то тревожит. Все, казалось бы, хорошо было, — еду на юг, сижу покойно и свободно, в маленьком отделении первого класса, в курьерском поезде... Но ведь Пушкин давно умер и в Гурзуфе теперь мертво, пусто, вдруг сказал я себе — и увидел, понял, что не только в Гурзуфе, но и везде страшно мертво и пусто. Какая-то особенно грустная осень, — тут на юге была еще осень, — и какой-то удивительно тихий, молчаливый день. Поезд идет быстро и полон, но полон как будто неживыми. И в тех необыкновенно ровных степях, где идет он, тоже так безжизненно, скучно, словно не осталось ни малейшего смысла их существования. Это и на яву бывает: страшно безжизненно, ничтожно кажется иногда все на свете...

— Нет, — подумал я, — что-то неблагоприятно. Нужно бросить поезд...

Я вдруг вспомнил, что очень люблю Бахчисарай, — ведь Пушкин жил и в нем когда-то, был в нем даже ханом в пятнадцатом веке, — и решил выйти в Бахчисарае, ехать дальше на лошадях, через горы; и так не медля и сделал. Однако, Бахчисарая я как-то не заметил, а в горах было жутко. Глушь, пустыня, и уже вечереет. Все какие-то каменистые теснины и провалы

и все лес, лес, корявый, низкорослый и уже почти совсем голый, засыпанный мелкой желтой листвой: все карагач, подумал я, вкладывая в это слово какое-то таинственное и зловещее значение. И лошади бегут как-то не в меру ровно, и ямщик на облучке так неподвижен и безличен, что я его даже плохо вижу, — только чувствую и опасаясь, потому что Бог его знает, что у него на уме... Одна надежда на ужин в Ялте, подумал я. Спрошу себе отварную кефаль и белого Абрау...

И тотчас я увидел Ялту, ее кладбищенски белеющие среди кипарисов дачи, набережную и зеленоватое море в бухте. Но тут стало уже совсем страшно. Что случилось с Ялтой? Смеркается, темнеет, но почему-то нигде ни одного огня, на набережной ни одного прохожего, всюду опять тишина, молчание... Я сел в пустой и почти темной зале ресторана и стал ждать лакея. Но никто не шел, — все было пусто и удивительно тихо. В глубине залы совсем почернело, а за большим оконным стеклом, возле которого я сел, поднимался ветер, дымились низкие тучи и то и дело пушечными выстрелами бухали в набережную и высоко взвивались в воздух длинными пенистыми хвостами волны... Все это было так странно и страшно, что я сделал усилие воли и вскочил с постели: оказалось, что я заснул, не раздевшись, не потушив свечи, которая почти догорела, темным дрожащим светом озаряя мой номер, и что уже второй час ночи. И я вскочил, ужаснувшись: что же я теперь буду делать? Выспался крепко, а ночи и конца не видно, а за окнами шумит крупный ливень, и я совершенно один во всем мире, где не спит теперь только Давыдка! Я поспешно кинулся к Давыдке, в его погребок на Виноградной. Ночь была так непроглядна и дождь лил в ее черноте так бурно, что погребок казался единственным живым местом не только во всем Поти, — теперь я был в По-

ти, — но и на всем кавказском побережье, даже, больше — во всем мире. Но пока я добежал до него по каким-то узким, грязным и глухим переулкам, Давыдка уже вышел закрывать ставни на своем убогом окошке, собрался тушить свет и запирает двери.

— Но послушай, — сказал я ему, чувствуя страх уже смертельный, — если ты запрешь и потушишь, что же мне тогда делать? Куда деваться? Ведь сюда зимой даже пароходы не заходят!

Однако Давыдка только языком пощелкал и неумолимо, с тем спокойным идиотизмом, на который способен лишь кавказец, помотал своей черной стриженной башкой:

— На молу гулять будешь, — сказал он. — Там всю ночь главный маяк гореть будет...

И вот я на каком-то страшном обрыве, горбатом и скалистом, где можно держаться только прижавшись к необыкновенно высокой и круглой белой башне и упершись ногами в скалы. Вверху, в дымном от дождя и медленно вращающемся свете, с яростным визгом и криком кружатся и дерутся, как чайки, несметные траурные пингвины. Внизу — тьма, смола, пропасть, где гудит, ревет, тяжело ходит что-то безмерное, бугристое, клубящееся, как какой-то допотопный спрут, резко пахнущее устричной свежестью и порой взрывающееся целыми водопадами брызг и пены... А вверху пингвины, пингвины!

1929 г.

БЕЗУМНЫЙ ХУДОЖНИК

Золотилось солнце на востоке, за туманной синью далеких лесов, за белой снежной низменностью, на которую глядел с невысокого горного берега древний русский город. Был канун Рождества, бодрое утро с легким морозом и инеем.

Только что пришел петроградский поезд: в гору, по наезженному снегу, от железнодорожной станции, тянулись извозчики, с седоками и без седоков.

В старой большой гостинице на просторной площади, против старых торговых рядов, было тихо и пусто, прибрано к празднику. Гостей не ждали. Но вот к крыльцу подъехал господин в пенсне, с изумленными глазами, в черном бархатном берете, из-под которого падали зеленоватые кудри, и в длинной дохе блестящего каштанового меха.

Рыжий бородач на козлах притворно кричал, желая показать, что он промерз, что следует набавить ему. Седок не обратил на него внимания, представив расплатиться с ним гостинице.

— Ведите меня в самый светлый номер, — громко сказал он, торжественным шагом следуя по широкому коридору за молодым коридорным, несшим его дорогой заграничный чемодан. — Я художник, — сказал он, — но на этот раз мне не нужна комната на север. Отнюдь нет!

Коридорный распахнул дверь в номер первый, самый почетный, состоявший из прихожей и двух обширных комнат, где окна были однако невелики и

очень глубоки, по причине толстых стен. В комнатах было тепло, уютно и спокойно, янтарно от солнца, смягченного инеем на нижних стеклах. Осторожно опустив чемодан на ковер посередине приемной, коридорный, молодой малый с умными веселыми глазами, остановился в ожидании паспорта и приказаний. Художник, ростом невысокий, юношески легкий вопреки своему возрасту, в берете и бархатной куртке, прошелся из угла в угол и, сронив движением бровей пенсне, потер белыми, точно алебастровыми руками свое бледное, измученное лицо. Потом странно посмотрел на слугу невидящим взором очень близорукого и рассеянного человека.

— Двадцать четвертое декабря тысяча девятьсот шестнадцатого года! — сказал он. — Эту дату ты должен запомнить!

— Слушаю-сь, — ответил коридорный.

Художник вынул из бокового кармана куртки золотые часы, мельком, прищурив один глаз, взглянул на них.

— Ровно половина десятого, — продолжал он, снова уставляя на носу свои стекла. — Я у цели своего паломничества. Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение! Паспорт я тебе дам, не беспокойся, но сейчас мне не до паспорта. У меня нет ни одной свободной минуты. Сейчас я спешу в город, чтобы вернуться ровно в одиннадцать. Я должен завершить дело всей моей жизни. Мой молодой друг, — сказал он, протягивая к коридорному руку и показывая ему два обручальных кольца, из которых одно, на мизинце, было женское: — это кольцо — предсмертный завет!

— Так точно, — ответил коридорный.

— И я этот завет исполню! — грозно сказал художник. — Я напишу бессмертную вещь! И я подарю ее — тебе.

— Покорнейше благодарим, — ответил коридорный.

— Но, любезный, дело в том, что я не взял с собой ни холста, ни красок, — провезти их из-за этой чудовищной войны было совершенно невозможно. Я надеюсь достать их здесь. Я наконец воплещу все то, что сводило меня с ума целых два года, а потом так дивно преобразилось в Стокгольме!

Говоря и отчеканивая слова, художник в упор смотрел через пенснэ на своего собеседника.

— Весь мир должен узнать и понять это откровение, эту благую весть! — воскликнул он, театрально взмахнув рукой. — Слышишь? Весь мир! Все!

— Хорошо-с, — ответил коридорный. — Я доложу хозяину.

Художник снова надел доху и направился к двери. Коридорный со всех ног кинулся отворять ее. Художник важно кивнул ему и зашагал по коридору. На площадке лестницы он приостановился и добавил:

— В мире, мой друг, нет праздника выше Рождества. Нет таинства, равного рождению человека. Последний миг кровавого, старого мира! Рождается новый человек!

На улице совсем ободнялось, стало совсем солнечно. Иней на телеграфных проволоках рисовался по голубому небу нежно и сизо и уже крошился, осыпался. На площади толпился целый лес густых темно-зеленых елок. У мясных лавок стояли мерзлые белые туши голых свиней с глубокими разрезами на толстых загривках, висели серые рябчики, ощипанные гуси, индейки, жирные и застывшие. Прохожие, переговариваясь, спешили, извозчики стегали лохматых лошадей, подреза визжали.

— Узнаю тебя, Русь! — громко говорил художник, шагая по площади и глядя на туго подпоясанных, толсто одетых бодрых торговцев и торговок, по-

крикивающих возле своих лотков с самодельными деревянными игрушками и большими белыми пряниками в виде коней, петухов и рыб.

Он подозвал свободного извозчика и велел ехать ему на главную улицу.

— Только живее, к одиннадцати я должен быть дома за работой, — сказал он, садясь в холодные санки, кладя на колени себе тяжелую, каляную полость.

Извозчик мотнул шапкой и быстро понес его на своем сытом меренке по блестящей, накатанной дороге.

— Живее, живее! — повторил художник. В двенадцать самый полный свет солнца. — Да, — сказал он, оглядываясь, — места знакомые, но основательно забытые! Как называется эта пьятца?

— Чего изволите? — спросил извозчик.

— Я тебя спрашиваю, как называется эта площадь? — крикнул художник, внезапно впадая в ярость. — Стой, негодяй! Зачем ты привез меня к часовне? Я боюсь церквей и часовен! Стой! Ты знаешь, что один финн привез меня к кладбищу, и я тотчас же написал письма к королю и к папе и он был приговорен к смертной казни! Вези назад!

Извозчик осадил разбежавшуюся лошадь и взглянул на седока с недоумением:

— Куда же прикажете? Вы сказали, на главную улицу...

— Я сказал тебе — в художественный магазин!

— Вы бы лучше, барин, другого наняли, мы не понимаем.

— Ну и убирайся к чорту! Вот тебе твои серебряники!

И художник неловко вылез из саней, бросил извозчику трехрублевку и пошел прочь, назад, по середине улицы. Доха его распахнулась, волочилась по снегу, глаза страдальчески и растерянно блуждали по сторонам. Увидав в окне магазина золоченые багеты,

он поспешно вошел в магазин. Но едва он заговорил о красках, румяная барышня в шубке, сидевшая за кассой, тотчас же перебила его:

— Ах нет, у нас красками не торгуют. У нас только рамы, багеты и обои. Да и вообще вряд ли вы найдете у нас в городе холст и масляные краски.

Художник с непритворным отчаянием схватился за голову.

— Боже мой, да неужели? Ах, как это ужасно! Сейчас и именно сейчас краски для меня вопрос жизни и смерти! Идея моя совершенно созрела еще в Стокгольме и, будучи воплощенной, должна произвести неслыханное впечатление. Я должен написать вифлеемскую пещеру, написать Рождество и залить всю картину, — и эти ясли, и Младенца, и Мадонну, и льва, и ягненка, возлежащих рядом, — именно рядом! — таким ликованием ангелов, таким светом, чтобы это было воистину рождением нового человека. Только у меня это будет в Испании, стране нашего первого, брачного путешествия. Вдали — синие горы, на холмах цветущие деревья, в раскрытых небесах...

— Извиняюсь, господин, — сказала барышня с испугом, — здесь могут покупатели прийти. У нас только рамы, багеты и шпалеры...

Художник встрепнулся и с преувеличенной вежливостью поднял свой берет:

— Ах, простите ради Бога! Вы правы, тысячу раз правы!

И поспешно вышел.

Через несколько домов, в магазине «Знание», он купил очень большой лист шершавого картона, цветных карандашей и акварельные краски на бумажной палитре. Затем опять вскочил на извозчика и погнал его в гостиницу. В гостинице он тотчас позвонил.

Явился тот же коридорный. Художник держал в руках паспорт.

— Вот! — сказал он, протягивая его коридорному. — Кесарево — кесарю. А затем, любезный, ты должен принести мне стакан воды для акварели. Масляных красок, увы, нигде нет. Война! Железный век! Пещерный век!

И, подумав, внезапно просиял восторгом:

— А какой день! Боже, какой день! Ровно в полночь рождается Спаситель! Спаситель мира! Я так и подпишу под картиной: Рождение Нового Человека! Мадонну я напишу с той, чье имя отныне священо. Я воскрешу ее, убитую злой силой вместе с новой жизнью, выношенной ею под сердцем!

Коридорный опять выразил свою неизменную готовность на услуги и опять ушел. Но когда, через несколько минут, он принес стакан и графин свежей воды, художник крепко спал. Бледное и худое лицо его было похоже на алебастровую маску. Он высоко, навзничь лежал на подушках на кровати в спальне, закинув голову, разметав свои длинные серо-зеленые волосы, и не было слышно даже дыхания его. Коридорный удалился на цыпочках и за дверью столкнулся с хозяином, приземистым человеком с бобриком на темени и острыми глазами.

— Ну что? — спросил хозяин быстрым шопотом.

— Спит, — ответил коридорный.

— Чудеса! — сказал хозяин. — А паспорт правильный. Только отмечено, что жена померла. Иван Матвеич звонил из полиции, велел присматривать. Ты того, держи ухо востро. Время, брат, военное.

— Говорит — одарю тебя, дай только дело сделать, — сказал коридорный. — Самовара не спрашивает...

— Вот, вот! — подхватил хозяин и прильнул ухом к двери.

Но за дверью было тихо и только чувствовалась та грусть, что всегда бывает в комнате спящего человека.

Солнце медленно уходило из номера. Потом и совсем ушло. Иней на окнах посерел, стал скучный. В сумерки художник внезапно проснулся и тотчас кинулся к звонку.

— Это ужасно! — закричал он, как только появился коридорный. — Ты меня не разбудил! А между тем именно из-за этого дня мы и предприняли нашу страшную Одиссею. Представь же себе, каково было ей, беременной на восьмом месяце! Мы прошли через тысячу всяческих рогаток, не спали, не ели почти шесть недель. А море! А бешеные качки! А этот непрестанный страх, что того гляди взлетишь на воздух! «Все наверх! Готовь спасательные пояса! Первому, кто кинется к шлюпке без команды, разможжу череп!»

— Так точно, — сказал коридорный, оторопев от его зычного крика.

— А какой был радостный свет! — продолжал художник, успокаиваясь. — Я при таком настроении духа, как давеча, кончил бы работу в два-три часа. Но что ж делать! Буду работать всю ночь. Только помоги мне кое-что приготовить. Стол этот, пожалуй, годится...

Он подошел к преддиванному столу, стащил с него бархатную скатерть, покачал его:

— Стоит довольно твердо. Но вот что: у вас здесь всего две свечи. Надо принести еще восемь, иначе я не могу писать. Мне нужна бездна света!

Коридорный опять вышел и долго спустя принес семь свечей в разных подсвечниках.

— Одной нету, все по номерам, — сказал он.

Художник опять заволновался, опять закричал:

— Ах, как это досадно! Десять, десять нужно бы-

ло! На всяком шагу преграды, низости! Помоги мне по крайней мере поставить стол как раз по середине комнаты. Мы увеличим свет отражениями в зеркале...

Коридорный потащил стол на указанное место, покрепче уставил его.

— Теперь надо застелить чем-нибудь белым, не поглощающим света, — бормотал художник, неловко помогая, роняя и надевая пенснэ. — Чем бы это? Белых скатертей я боюсь... Ба, у меня куча газет, я предусмотрительно не выбрасывал их!

Он открыл чемодан, лежавший на полу, взял оттуда несколько номеров газеты, застелил стол, прикрепит кнопками, разложил карандаши, палитру, расставил в ряд девять свечей и все зажег их. Комната приняла странный, праздничный, но и зловещий вид от этого обилия огней. Окна почернели. Свечи отражались в зеркале над диваном, бросая яркий золотой свет на белое серьезное лицо художника и на молодое озабоченное лицо коридорного. Когда наконец все было готово, коридорный почтительно отступил к порогу и спросил:

— Кушать будете у нас, али на стороне?

Художник горько и театрально усмехнулся:

— Дитя! Он воображает, что я могу в такую минуту есть! Иди с миром, друг мой. Ты свободен теперь до утра.

И коридорный осторожно вышел вон.

Часы текли. Художник ходил из угла в угол. Он сказал себе: «Надо приготовиться». За окнами чернела зимняя морозная ночь. Он опустил на них шторы. В гостинице все молчало. За дверью в коридоре слышались осторожные, воровские шаги, — за художником подсматривали в замочную скважину, подслушивали. Потом и шаги стихли. Свечи пылали, дрожа огнями, отражаясь в зеркале. Лицо художника становилось все болезненнее.

— Нет! — вскричал он вдруг, резко останавливаясь. — Сперва я должен возобновить в памяти ее черты. Прочь детский страх!

Он наклонился к чемодану, волосы его повисли. Запустив руку под белье, он вытащил большой белый бархатный альбом, сел в кресло у стола. Раскрыв альбом, он решительно и гордо откинул голову назад и замер в созерцании.

В альбоме был большой фотографический снимок: внутренность какой-то пустой часовни, со сводами, с блестящими стенами из гладкого камня. По середине, на возвышении, покрытом траурным сукном, тянулся длинный гроб, в котором лежала худая женщина с сомкнутыми выпуклыми веками. Узкая и красивая голова ее была окружена гирляндой цветов, высоко на груди покоились сложенные руки. В возглавии гроба стояли три церковных свещника, у подножия — крохотный гробик с младенцем, похожим на куклу.

Художник напряженно вглядывался в острые черты покойной. Вдруг лицо его исказилось ужасом. Он кинул альбом на ковер, вскочил, бросился к чемодану. Он перерыл его весь, до дна, разбросал по полу рубашки, носки, галстухи... Нет, того, что он искал, не было! Он отчаянно озирался по сторонам, тер рукою лоб...

— Полжизни за кисть! — воскликнул он хриплым голосом, топнув ногою. — Забыл, забыл, несчастный! Ищи же! Сотвори чудо!

Но кисти не было. Он пошарил по карманам, нашел перочинный нож, подбежал к дохе... Разве вырезать клок меха и привязать к перу, к щепке? Но где взять ниток? Ночь, все спят... его примут за сумасшедшего! И он яростно схватил с дивана картон, швырнул его на стол, сбегал в спальню за подушками, положил их на кресло, чтобы было выше сидеть,

и хватая то один, то другой цветной карандаш, с головой ушел в работу.

Он трудился без отдыха. Он снял пенсне и низко наклонился к столу, бросал сильные и уверенные удары, откидывался, вперяя взгляд в зеркало, светлый туман которого был полон дрожащими цветистыми огнями. От жара свечей волосы художника на висках смоклись, от напряжения вздулись жилы на шее. Глаза слезились и горели, черты лица обреза-лись.

Наконец он увидел, что лист картона безнадежно испорчен, — нелепо и ярко загроможден рисунками, совершенно противоположными друг другу по смыслу и по значению их: горячее вдохновение художника совершенно не повиновалось ему, делало совсем не то, что ему хотелось. Он перевернул картон и, схватив синий карандаш, оцепенел на некоторое время. Раскрытый альбом лежал возле его кресла. Из альбома так и бил в глаза длинный гроб и мертвый лик. Он порывисто захлопнул альбом. В чемодане торчала из белья оплетенная фляжка с одеколоном. Он вскочил, быстро отвинтил ее крышечку и, обжигаясь, стал пить. Опорожнив фляжку почти до дна и, отдуваясь от душистого пламени, с пылающим горлом, он опять пошел шагать по комнате.

Вскоре юношеская сила овладела им, — дерзкая решительность, уверенность в каждой своей мысли, в каждом своем чувстве, сознание, что он все может, все смеет, что нет более для него сомнений, нет преград. Он исполнился надежд и радости. Ему казалось, что мрачные, дьявольские наводнения жизни, черными волнами заливавшие его воображение, отступают от него. Осанна! Благословен Грядый во имя Господне!

Теперь перед его умственным взором, с потрясающей, с небывалой доселе ясностью, стояло лишь

то, чего жаждало его сердце, сердце не раба жизни, а творца ее, как мысленно говорил он себе. Небеса, преисполненные вечного света, млеющие эдемской лазурью и клубящиеся дивными, хотя и смутными облаками, грезились ему; светозарные лики и крылья несметных ликующих серафимов проступали в жуткой литургической красоте небес; Бог-Отец, грозный и радостный, благий и торжествующий, как в дни творения, высился среди них радужным исполинским видением; Дева неизреченной прелести, с очами, полными блаженства счастливой матери, стоя на облачных клубах, сквозящих синью земных далей, простертых под нею, являла миру, высоко поднимала на божественных руках своих Младенца, блистающего, как солнце, и дикий, могучий Иоанн, препоясанный звериной шкурою, на коленях стоял возле Ее ног, в исступлении любви, нежности и благодарности целуя край Ее одежды...

И художник снова кинулся к своей работе. Он ломал и с лихорадочной поспешностью, трясущимися руками, вновь острил ножом карандаши. Догоравшие свечи, оплывшие, текущие по раскаленным подсвечникам, еще жарче пылали возле его лица, завешанного вдоль щек мокрыми волосами.

В шесть часов он бешено давил кнопку звонка: он кончил, кончил! Затем побежал к столу и стоя, с бьющимся сердцем, стал ждать коридорного. Теперь он был бледен такой бледностью, что губы у него казались черными. Вся куртка его была осыпана разноцветной пылью карандашей. Темные глаза горели нечеловеческим страданием и вместе с тем каким-то свирепым восторгом.

Никто не шел. Гробовая тишина окружала его. Но он стоял, он ждал, весь превратившись в слух и ожидание. Вот, сию минуту вбежит коридорный, и он, творец, завершивший свой труд, изливший свою ду-

шу по воле самого Божества, быстро скажет ему заранее приготовленные, страшные и победительные слова:

— Возьми. Я *тебе* дарю это.

И он, близкий от стука своего сердца к потере сознания, крепко держал в руке картон. На картоне же, сплошь расцвеченном, чудовищно громоздилось то, что покорило его воображение в полной противоположности его страстным мечтам. Дикое, черносинее небо до зенита пылало пожарами, кровавым пламенем дымных, разрушающихся храмов, дворцов и жилищ. Дыбы, эшафоты и виселицы с удушенными чернели на огненном фоне. Над всей картиной, над всем этим морем огня и дыма, величаво, демонически высился огромный крест с распятым на нем, окровавленным Страдальцем, широко и покорно раскинувшим длани по перекладинам креста. Смерть, в доспехах и зубчатой короне, оскалив свою гробную челюсть, с разбегу подавшись вперед, глубоко всадила под сердце Распятого железный трезубец. Низ же картины являл беспорядочную грудку мертвых — и свалку, грызню, драку живых, смешение нагих тел, рук и лиц. И лица эти, ощеренные, клыкастые, с глазами, выкатившимися из орбит, были столь мерзостны и грубы, столь искажены ненавистью, злобой, сладострастием братоубийства, что их можно было признать скорее за лица скотов, зверей, дьяволов, но никак не за человеческие.

Париж, 1921 г.

СНЫ ЧАНГА

Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле.

Некогда Чанг узнал мир и капитана, своего хозяина, с которым соединилось его земное существование. И прошло с тех пор целых шесть лет, протекло, как песок в корабельных песочных часах.

Вот опять была ночь — сон или действительность? — и опять наступает утро — действительность или сон? Чанг стар, Чанг пьяница — он все дремлет.

На дворе, в городе Одессе, зима. Погода злая, мрачная, много хуже даже той, китайской, когда Чанг с капитаном встретили друг друга. Несет острым мелким снегом, снег косо летит по ледяному, скользкому асфальту пустого приморского бульвара и больно сечет в лицо каждому еврею, что, засунувши руки в карманы и сгорбившись, неумело бежит направо или налево. За гаванью, тоже опустевшей, за туманным от снега заливом слабо видны голые степные берега. Мол весь дымится густым серым дымом: море с утра до вечера переваливается через мол пенистыми чревами. Ветер звонко свищет в телефонных проволоках...

В такие дни жизнь в городе начинается не рано. Не рано просыпаются и Чанг с капитаном. Шесть лет — много это или мало? За шесть лет Чанг с капитаном стали стариками, хотя капитану еще и срока нет, и судьба их грубо переменилась. По морям они уже не плавают — живут «на берегу», как

говорят моряки, и не там, где жили когда-то, а в узкой и довольно мрачной улице, на чердаке пятиэтажного дома, пахнущего каменным углем, населенного евреями, из тех, что в семью приходят только к вечеру и ужинают в шляпах на затылок. Потолок у Чанга с капитаном низкий, комната большая и холодная. В ней всегда кроме того сумрачно: два окна, пробитые в наклонной стене-крыше, невелики и круглы, напоминают корабельные. Между окнами стоит что-то вроде комода, а у стены налево старая железная кровать; вот и все убранство этого скучного жилища, если не считать камина, из которого всегда дует свежим ветром.

Чанг спит в уголке за камином. Капитан на кровати. Какова эта чуть не до полу продавленная кровать и каков матрац на ней, легко представит себе всякий, живавший на чердаках, а нечистая подушка так жидка, что капитану приходится подкладывать под нее свою тужурку. Однако и на этой кровати спит капитан очень спокойно, лежит, — на спине, с закрытыми глазами и серым лицом, — неподвижно, как мертвый. Что за чудесная кровать была у него прежде! Ладная, высокая, с ящиками, с постелью глубокой и уютной, с тонкими и скользкими простынями и холодящими белоснежными подушками! Но и тогда, даже в качку, не спал капитан так крепко, как теперь: за день он сильно устает, да и о чем ему теперь тревожиться, что он может проспять и чем может обрадовать его новый день? Было когда-то две правды на свете, постоянно сменявших друг друга: первая та, что жизнь несказанно прекрасна, а другая — что жизнь мыслима лишь для сумасшедших. Теперь капитан утверждает, что есть, была и во веки веков будет только одна правда, последняя, правда еврея Иова, правда мудреца из неведомого племени, Экклезиаста. Часто говорит теперь капитан, сидя в

пивной: «Помни, человек, с юности твоей те тяжелые дни и годы, о коих ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них!» — Все же дни и ночи попрежнему существуют, и вот опять была ночь и опять наступает утро. И капитан с Чангом просыпаются.

Но, проснувшись, капитан не открывает глаз. Что он в эту минуту думает, не знает даже Чанг, лежащий на полу возле нетопленного камина, из которого всю ночь пахло морской свежестью. Чангу известно только одно: то, что капитан пролежит так не менее часа. Чанг, поглядев на капитана уголком глаза, снова смыкает веки и снова задремывает. Чанг тоже пьяница, он тоже по утрам мутен, слаб и чувствует мир с тем томным отвращением, которое так знакомо всем плавающим на кораблях и страдающим морской болезнью. И потому, задремывая в этот утренний час, Чанг видит сон томительный, скучный...

Видит он:

Поднялся на палубу парохода старый, кислоглазый китаец, опустился на корячки, стал скулить, упрашивать всех проходящих мимо, чтобы купили у него плетушку тухлых рыбок, которую он принес с собою. Был пыльный и холодный день на широкой китайской реке. В лодке под камышевым парусом, качавшейся на речной мути, сидел щенок, — рыжий кобелек, имевший в себе нечто лисье и волчье, с густым жестким мехом вокруг шеи, — строго и умно водил черными глазами по высокой железной стене пароходного бока и торчком держал уши.

— Продай лучше собаку! — весело и громко, как глухому, крикнул китайцу молодой капитан парохода, без дела стоявший на своей вышке.

Китаец, первый хозяин Чанга, вскинул глаза вверх, оторопел и от крика и от радости, стал кланяться и цокать: “Ve’y good dog, ve’y good!” — И щенка купили, — всего за целковый, — назвали Чангом, и по-

плыл он в тот же день со своим новым хозяином в Россию и вначале, целых три недели, так мучился морской болезнью, был в таком дурмане, что даже ничего не видел: ни океана, ни Сингапура, ни Коломбо...

В Китае начиналась осень, погода была трудная. И стало мутить Чанга, едва вышли в устье. Навстречу несло дождем, мглою, сверкали по водной равнине барашки, качалась, бежала, всплескивалась серозеленая зыбь, острая и бестолковая, а плоские прибрежья расходились, терялись в тумане — и все больше, больше становилось воды вокруг. Чанг, в своей серебрившейся от дождя шубке, и капитан, в непромокаемом пальто с поднятым капюшоном, были на мостике, высота которого чувствовалась теперь еще сильнее, чем прежде. Капитан командовал, а Чанг дрожал и воротил от ветра морду. Вода ширилась, охватывала ненастные горизонты, мешалась с мгlistым небом. Ветер рвал с крупной шумной зыби брызги, налетал откуда попало, свистал в реях и гулко хлопал внизу парусиновыми тентами, меж тем как матросы, в кованых сапогах и мокрых накидках, отвязывали, ловили и скатывали их. Ветер искал, откуда бы покрепче ударить, и как только пароход, медленно ему кланявшийся, взял покруче вправо, поднял его таким большим, кипучим валом, что он не удержался, рухнул с переката вала, зарываясь в пену, а в штурманской рубке с дребезгом и звоном полетела на пол кофейная чашка, забытая на столике лакеем... И с этой минуты пошла музыка!

Дни потом были всякие: то огнем жгло с сияющей лазури солнце, то горами громоздились и раскатывались ужасающим громом тучи, то потопами обрушивались на пароход и на море буйные ливни; но качало, качало непрерывно, даже и во время стоянок. В конце замученный, ни разу за целых три недели не покинул Чанг своего угла в жарком полутемном кори-

доре среди пустых кают второго класса, на юте, возле высокого порога двери на палубу, отворявшейся только раз в сутки, когда вестовой капитана приносил Чангу пищу. И от всего пути до Красного моря остались в памяти Чанга только тяжкие скрипы переборок, дурнота и замирание сердца, то летевшего вместе с дрожащей кормой куда-то в пропасть, то возносившегося в небо, да колючий, смертный ужас, когда об эту высоко поднятую и вдруг снова завалившуюся на сторону корму, грохочущую винтом в воздухе, с пушечным выстрелом расшибалась целая водяная гора, гасившая дневной свет в иллюминаторах и потом стекавшая по их толстым стеклам мутными потоками. Слышал больной Чанг далекие командные крики, гремучие свистки боцмана, топот матросских ног где-то над головой, слышал плеск и шум воды, различал полузакрытыми глазами полутемный коридор, загроможенный рогожными тюками чая, — и шалел, пьянел от тошноты, жары и крепкого чайного запаха...

Но тут сон Чанга обрывается.

Чанг вздрагивает и открывает глаза: это уже не волна с пушечным выстрелом ударила в корму — это грохнула где-то внизу дверь, с размаху кем-то брошенная. И вслед за этим громко откашливается и медленно встает со своего вдавленного одра капитан. Он натягивает на ноги и зашнуровывает разбитые башмаки, надевает вынутую из-под подушки черную тулупку с золотыми пуговицами и идет к комоду, междометно как Чанг, в своей рыжей поношенной шубке, недовольно, с визгом зевает, поднявшись с пола. На комод стоит начатая бутылка водки. Капитан пьет прямо из горлышка и, слегка задохнувшись и отдуваясь в усы, направляется к камину, наливает в плошку, стоящую возле него, водки и для Чанга. Чанг жадно начинает локать. А капитан закуривает и снова ложится — ждать того часа, когда совсем ободняется. Уже

слышен отдаленный гул трамвая, уже льется далеко внизу, на улице, непрерывное цоканье копыт по мостовой, но выходить еще рано. И капитан лежит и курит. Кончив локать, ложится и Чанг. Он вскакивает на кровать, свертывается клубком у ног капитана и медленно вплывает в то блаженное состояние, которое всегда дает водка. Полузакрытые глаза его туманятся, он слабо глядит на хозяина и, чувствуя все возрастающую нежность к нему, думает то, что можно выразить по-человечески так: «Ах, глупый, глупый! Есть только одна правда на свете, и если бы ты знал, какая эта чудесная правда!» И опять не то снится, не то думается Чангу то далекое утро, когда, после мучительного, беспокойного океана, вошел пароход, плывший из Китая с капитаном и Чангом, в Красное море...

Снится ему:

Проходя Перим, все медленнее, точно баюкая, размахивался пароход, и впал Чанг в сладкий и глубокий сон. И вдруг очнулся. И очнувшись, изумился выше всякой меры: везде было тихо, мерно дрожала и никуда не падала корма, ровно шумела вода, бежавшая где-то за стенами, теплый кухонный запах, тянувший из-под двери на палубу, был очарователен... Чанг привстал и поглядел в пустую кают-компанию: там, в сумраке, мягко светилось что-то золотисто-лиловое, что-то едва уловимое глазом, но необыкновенно радостное — там, в солнечно-голубую пустоту, на простор, на воздух, были открыты задние иллюминаторы, а по низкому потолку струились, текли и не утекали извилистые зеркальные ручьи... И случилось с Чангом то же, что не раз случалось в те времена и с его хозяином, капитаном: он вдруг понял, что существует в мире не одна, а две правды — одна та, что жить на свете и плавать ужасно, а другая... Но о другой Чанг не успел додумать: в неожиданно распахнувшуюся дверь он увидел трап на спардэк, черную, бле-

стящую громаду паровой трубы, ясное небо летнего утра и быстро идущего из-под трапа, из машинного отделения, капитана, размытого и выбритого, благоухающего свежестью одеколона, с поднятыми по-немецки русыми усами, с сияющим взглядом зорких светлых глаз, во всем тугом и белоснежном. И увидев все это, Чанг так радостно рванулся вперед, что капитан на-лету подхватил его, чмокнул в голову и, повернув назад, в три прыжка выскочил, на руках с ним, на спардэк, на верхнюю палубу, а оттуда еще выше, на тот самый мостик, где так страшно было в устье великой китайской реки.

На мостике капитан вошел в штурманскую рубку, а Чанг, брошенный на пол, немного посидел, трубой распушив по гладким доскам свой лисий хвост. Сзади Чанга было очень горячо и светло от невысокого солнца. Горячо, должно быть, было и в Аравии, близко проходившей справа своим золотым прибрежьем и своими черно-коричневыми горами, своими пиками, похожими на горы мертвой планеты, тоже глубоко засыпанными сухим золотом, — всей своей песчано-гористой пустыней, видной необыкновенно четко, так, что, казалось, туда можно перепрыгнуть. А наверху, на мостике, еще чувствовалось утро, еще тянуло легкой свежестью, и бодро гулял взад и вперед помощник капитана, — тот самый, что потом так часто до бешенства доводил Чанга, дуя ему в нос, — человек в белой одежде, в белом шлеме и в страшных черных очках, все поглядывавший на поднебесное острие передней мачты, над которой белым страусовым пером курчавилось тончайшее облачко... Потом капитан крикнул из рубки: «Чанг! Кофе пить!» И Чанг тотчас вскочил, обежал рубку и ловко сигнул через ее медный порог. И за порогом оказалось еще лучше, чем на мостике: там был широкий кожаный диван, приделанный к стене, над ним висели какие-то блестя-

щие стеклом и стрелками штуки вроде круглых стальных часов, а на полу стояла полоскательница с бурдой из сладкого молока и хлеба. Чанг стал жадно локать, а капитан занялся делом: он развернул на стойке, помещавшейся под окном против дивана, большую морскую карту и, положив на нее линейку, твердо прорезал алыми чернилами длинную полоску. Чанг, кончив локать, с молоком на усах, подпрыгнул и сел на стойке возле самого окна, за которым синела отложным воротом просторная рубаха матроса, стоявшего спиной к окну перед колесом с рогами. И тут капитан, который, как оказалось впоследствии, очень любил поговорить, будучи наедине с Чангом, сказал Чангу:

— Видишь, братец, вот это и есть Красное море, Надо нам с тобой пройти его поумнее, — ишь, какое оно от островков и рифов пестрое, — надо мне тебя доставить в Одессу в полной сохранности, потому что там уже знают о твоём существовании. Я уже проболтался про тебя одной прекапризной девчонке, похвастался перед ней твоей милостью по такому, понимаешь ли, длинному канату, что проложен умными людьми на дне всех морей-океанов... Я, Чанг, все-таки ужасно счастливый человек, такой счастливый, что ты даже и представить себе не можешь, и потому мне ужасно не хочется напороться на какой-нибудь из этих рифов, осрамиться до девятой пуговицы на своем первом дальнем рейсе...

И говоря так, капитан вдруг строго глянул на Чанга и дал ему пощечину:

— Лапы с карты прочь! — крикнул он начальственно. — Не смей лезть на казенное добро!

И Чанг, мотнув головой, зарычал и зажмурился. Это была первая пощечина, полученная им, и он обиделся, ему опять показалось, что жить на свете и плавать — скверно. Он отвернулся, гася и сокращая свои

прозрачно-яркие глаза, и с тихим рычанием оскалил свои волчьи зубы. Но капитан не придавал значения его обиде. Он закурил папиросу и вернулся на диван, вынул из бокового кармана пикейной куртки золотые часы, отколупнул крепким ногтем их крышки и, глядя на что-то сияющее, необыкновенно живое, торопливое, что звонко бежало внутри часов, опять заговорил дружески. Он опять стал рассказывать Чангу о том, что он везет его в Одессу, на Елисаветинскую улицу, что на Елисаветинской улице есть у него, у капитана, во-первых, квартира, во-вторых, красавица-жена и, в-третьих, чудесная дочка, и что он, капитан, все-таки очень счастливый человек.

— Все-таки, Чанг, счастливый! — сказал капитан, а потом добавил:

— Дочка эта самая, Чанг, девочка, резвая, любопытная, настойчивая, — плохо тебе будет временами, особенно твоему хвосту! Но если бы ты знал, Чанг, что это за прелестное существо! Я, братец, так люблю ее, что даже боюсь своей любви: для меня весь мир только в ней, — ну, скажем, почти в ней, — а разве так полагается? Да и вообще, следует ли кого-нибудь любить так сильно? — спросил он. — Разве глупее нас с тобой были все эти ваши Будды, а послушай-ка, что они говорят об этой любви к миру и вообще ко всему телесному — от солнечного света, от волны, от воздуха и до женщины, до ребенка, до запаха белой акации! Или: знаешь ли ты, что такое Тао, выдуманное вами же, китайцами? Я, брат, сам плохо знаю, да и все плохо знают это, но, насколько можно понять, ведь это что такое? Бездна-Праматерь, она же родит и поглощает и, поглощая, снова родит все сущее в мире, а иначе сказать — тот Путь всего сущего, коему не должно противиться ничто сущее. А ведь мы поминутно противимся ему, поминутно хотим повернуть не только, скажем, душу любимой женщины, но

и весь мир по-своему! Жутко жить на свете, Чанг, — сказал капитан, — очень хорошо, а жутко, и особенно таким, как я! Уж очень я жаден до счастья и уж очень часто сбиваюсь: темен и зол этот Путь, или же совсем, совсем напротив?

И, помолчав, еще прибавил;

— Главная штука ведь в чем? *Когда кого любишь, никакими силами никто не заставит тебя верить, что может не любить тебя тот, кого ты любишь.* И вот тут-то, Чанг, и зарыта собака. А как великолепна жизнь, Боже мой, как великолепна!

Накаляемый уже высоко поднявшимся солнцем и чуть дрожащий на бегу пароход неустанно разрезал заштилевшее в бездне знойного воздушного пространства Красное море. Светлая пустота тропического неба глядела в дверь рубки. Близился полдень, медный порог так и горел на солнце. Стекловидные валы все медлительнее перекатывались за бортом, вспыхивая ослепительным блеском и озаряя рубку. Чанг сидел на диване, слушая капитана. Капитан, гладивший голову Чанга, спихнул его на пол — «нет, брат, жарко!» — сказал он, — но на этот раз Чанг не обиделся: слишком хорошо было жить на свете в этот радостный полдень. А потом...

Но тут опять прерывается сон Чанга.

— Чанг, идем! — говорит капитан, сбрасывая ноги с кровати. И опять с удивлением видит Чанг, что он не на пароходе в Красном море, а на чердаке в Одессе, и что на дворе и впрямь полдень, только не радостный, а темный, скучный, неприязненный. И тихо рычит на капитана, потревожившего его. Но капитан, не обращая на него внимания, надевает старый форменный картуз и такое же пальто и, запустив руки в карманы и сгорбившись, идет к двери. Поневоле приходится и Чангу спрыгивать с кровати. По лестнице капитан спускается тяжело и неохотно, точно в си-

лу нудной необходимости. Чанг катится довольно быстро: его бодрит еще неулегшееся раздражение, которым всегда кончается блаженное состояние после водки...

Да, вот уже два года, изо дня в день, занимаются Чанг с капитаном тем, что ходят по ресторанам. Там они пьют, закусывают, глядят на других пьяниц, пьющих и закусывающих рядом с ними, среди шума, табачного дыма и всякого зловония. Чанг лежит у ног капитана, на полу. А капитан сидит и курит, крепко положив, по своей морской привычке, локти на стол, ждет того часа, когда надо будет, по какому-то им самим выдуманному закону, перекочевать в другой ресторан или кофейню: завтракают Чанг с капитаном в одном месте, кофе пьют в другом, обедают в третьем, ужинают в четвертом. Обычно капитан молчит. Но бывает, что встречается капитан с кем-нибудь из своих прежних друзей и тогда весь день говорит без умолку о ничтожестве жизни и поминутно угощает вином то себя, то собеседника, то Чанга, перед которым всегда стоит на полу какая-нибудь посудинка. Именно так проведут они и нынешний день: нынче они условились позавтракать с одним старым приятелем капитана, с художником в цилиндре. А это значит, что будут они сидеть сперва в вонючей пивной, среди краснолицых немцев, — людей тупых, дельных, работающих с утра до вечера с тою целью, конечно, чтобы пить, есть, снова работать и плодить себе подобных, — потом пойдут в кофейню, битком набитую греками и евреями, вся жизнь которых, тоже бессмысленная, но очень тревожная, поглощена непрестанным ожиданием биржевых слухов, а из кофейни отправятся в ресторан, куда стекается всякое человеческое отребье, — и просидят там до поздней ночи...

Зимний день короток, а за бутылкой вина, за беседой с приятелем он еще короче. И вот уже побы-

вали Чанг, капитан и художник и в пивной, и в кофейне, а теперь сидят, пьют в ресторане. И опять капитан, положив локти на стол, горячо уверяет художника, что есть только одна правда на свете, — злая и низкая. — Ты посмотри кругом, говорит он, ты только вспомни всех тех, что ежедневно видим мы с тобой в пивной, в кофейне, на улице! Друг мой, я видел весь земной шар — жизнь везде такова! Все это ложь и вздор, чем будто бы живут люди: нет у них ни Бога, ни совести, ни разумной цели существования, ни любви, ни дружбы, ни честности, — нет даже простой жалости. Жизнь скучный, зимний день в грязном кабаке, не более...

И Чанг, лежа под столом, слушает все это в тумане хмеля, в котором уже нет более возбуждения. Соглашается он или не соглашается с капитаном? На это нельзя ответить определенно, но раз уж нельзя, значит, дело плохо. Чанг не знает, не понимает, прав ли капитан; да ведь все мы говорим «не знаю, не понимаю» только в печали; в радости всякое живое существо уверено, что оно все знает, все понимает... Но вдруг точно солнечный свет прорезывает этот туман: вдруг раздается стук палочки по пюпитру на эстраде ресторана — и запекает скрипка, за ней другая, третья... Они поют все страстней, все звончее — и через минуту переполняется душа Чанга совсем иной тоской, совсем иной печалью. Она дрожит от непонятного восторга, от какой-то сладкой муки, от жажды чего-то — и уже не разбирает Чанг, во сне он или наяву. Он всем существом своим отдается музыке, покорно следует за ней в какой-то иной мир — и снова видит себя на пороге этого прекрасного мира, неразумным, доверчивым к миру щенком на пароходе в Красном море...

— Да, так как это было? — не то снится, не то думается ему. — Да, помню: хорошо было жить в жар-

кий полдень в Красном море! Чанг с капитаном сидели в рубке, потом стояли на мостике... О, сколько было света, блеска, синевы, лазури! Как удивительно цветисты были на фоне неба все эти белые, красные и желтые рубахи матросов, с растопыренными руками развешенные на носу! А потом Чанг с капитаном и прочими моряками, у которых лица были кирпичные, глаза маслянистые, а лбы белые и потные, завтракал в жаркой кают-компании первого класса, под жужжащим и дующим из угла электрическим вентилятором, после завтрака вздремнул немного, после чая обедал, а после обеда опять сидел наверху, перед штурманской рубкой, где лакей поставил для капитана полотняное кресло, и смотрел далеко за море, на закат, нежно зеленевший в разноцветных и разнообразных тучках, на виннокрасное, лишенное лучей солнце, которое, коснувшись мутного горизонта, вдруг вытянулось и стало похоже на темно-огненную митру... Быстро бежал пароход вдогонку за ним, так и мелькали за бортом гладкие водяные горбы, отливающие сине-лиловой шагренью, но солнце спешило, спешило, — море точно втягивало его, — и все уменьшалось да уменьшалось, стало длинным раскаленным углем, задрожало и потухло, а как только потухло, сразу пала на весь мир тень какой-то печали, и сильнее заволновался все крепчавший к ночи ветер. Капитан, глядя на темное пламя заката, сидел с раскрытой головою, с колеблющимися от ветра волосами, и лицо его было задумчиво, гордо и грустно, и чувствовалось, что *все-таки* он счастлив, и что не только весь этот бегущий по его воле пароход, но и целый мир в его власти, потому что весь мир был в его душе в эту минуту — и потому еще, что и тогда уже пахло вином от него...

Ночь же настала страшная и великолепная. Она была черная, тревожная, с беспорядочным ветром и с таким полным светом шумно взметывавшихся во-

круг парохода волн, что порою Чанг, бегавший за быстро и безостановочно гулявшим по палубе капитаном, с визгом отскакивал от борта. И капитан опять взял Чанга на руки и, приложив щеку к его бьющемуся сердцу, — ведь оно билось совершенно так же, как и у капитана! — пришел с ним в самый конец палубы, на ют, и долго стоял там в темноте, очаровывая Чанга дивным и ужасным зрелищем: из-под высокой, громадной кормы, из-под глухо бушующего винта, с сухим шорохом сыпались мириады бело-огненных игл, вырывались и тотчас же уносились в снежную искристую дорогу, прокладываемую пароходом, то огромные голубые звезды, то какие-то тугие синие клубы, которые ярко разрывались и, угасая, таинственно дымились внутри кипящих водяных бугров бледно-зеленым фосфором. Ветер с разных сторон, сильно и мягко бил из темноты в морду Чанга, раздувал и охлаждал густой мех на его груди, и, крепко, родственно прижимаясь к капитану, обонял Чанг запах как-бы холодной серы, дышал взрытой утробой морских глубин, а корма дрожала, ее опускало и поднимало какой-то великой и несказанно свободной силой, и он качался, качался, возбужденно созерцая эту слепую и темную, но стократ живую, глухо бунтующую Бездну. И порой какая-нибудь особенно шальная и тяжелая волна, с шумом пролетавшая мимо кормы, жутко озаряла руки и серебряную одежду капитана...

В эту ночь капитан привел Чанга в свою каюту, большую и уютную, мягко освещенную лампой под красным шелковым абажуром. На письменном столе, плотно уместившемся возле капитанской кровати, стояли там, в тени и свете лампы, два фотографических портрета: хорошенькая сердитая девочка в локонах, капризно и вольно сидевшая в глубоком кресле, и молодая дама, изображенная почти во весь рост, с кружевным белым зонтиком на плече, в кружевной

большой шляпке и в нарядном весеннем платье, — стройная, тонкая, прелестная и печальная, как грузинская царевна. И капитан сказал, раздеваясь под шум черных волн за открытым окном:

— Не будет, Чанг, любить нас с тобой эта женщина! *Есть, брат, женские души, которые вечно томятся какой-то печальной жаждой любви и которые от этого от самого никогда и никого не любят.* Есть такие — и как судить их за всю их бессердечность, лживость, мечты о сцене, о собственном автомобиле, о пикниках на яхтах, о каком-нибудь спортсмене, раздирающем свои сальные от фиксауара волосы на прямой ряд? Кто их разгадает? Всякому свое, Чанг, и не следуют ли они сокровеннейшим велениям самой Тао, как следует им какая-нибудь морская тварь, вольно ходящая вот в этих черных, огненно-панцирных волнах?

— У-у! сказал капитан, садясь на стул, мотая головой и развязывая шнурки белого башмака: — Что только было со мной, Чанг, когда я в первый раз почувствовал, что она уже не совсем моя, — в ту ночь, когда она в первый раз одна была на яхт-клубском балу и вернулась под утро, точно поблекшая роза, бледная от усталости и еще неулегшегося возбуждения, с глазами сплошь темными, расширенными и далекими от меня! Если бы ты знал, как неподражаемо хотела она одурачить меня, с каким простым удивлением спросила: «А ты еще не спишь, бедный?» Тут я даже слова не мог выговорить, и она сразу поняла меня и смолкла, — только быстро взглянула на меня, — и молча стала раздеваться. Я хотел убить ее, но она сухо и спокойно сказала: «помоги мне расстегнуть сзади платье» — и я покорно подошел и стал дрожащими руками отстегивать эти крючки и кнопки — и как только увидел в раскрывшееся платье ее тело, ее междуплечье и сорочку, спущенную с плеч и засу-

нутую за корсет, как только услышал запах ее черных волос и взглянул в освещенное трюмо, отражавшее ее груди, поднятые корсетом...

И, не договорив, капитан махнул рукой.

Он разделся, лег и погасил огонь, и Чанг, переворачиваясь и укладываясь в сафьянном кресле возле письменного стола, видел, как бороздили черную плащаницу моря вспыхивающие и гаснущие полосы белого пламени, как по черному горизонту зловеще мелькали какие-то огни, как оттуда прибегала порою и с грозным шумом выростала выше борта и заглядывала в каюту страшная живая волна, — некий сказочный змей, весь насквозь светившийся самоцветными глазами, прозрачными изумрудами и сапфирами, — и как пароход отталкивал ее прочь и ровно бежал дальше, среди тяжелых и зыбких масс этого довременного, для нас уже чуждого и враждебного естества, называемого океаном...

Ночью капитан вдруг что-то крикнул и, сам испугавшись своего крика, прозвучавшего какой-то уничижительно-жалобной страстью, тотчас же проснулся. Полежав минуту молча, он вздохнул и сказал с усмешкой:

— Да, да! «Золотое кольцо в ноздре свиньи — женщина прекрасная!» Трижды прав ты, Соломон Премудрый!

Он нашел в темноте папиросницу, закурил, но, затянувшись два раза, уронил руку — и так и заснул с красным огоньком папиросы в руке. И опять стало тихо — только сверкали, качались и с шумом неслись волны мимо борта. Южный Крест из-за черных туч...

Но тут внезапно оглушает Чанга громовый грохот. Чанг в ужасе вскакивает. Что случилось? Опять ударился, по вине пьяного капитана, пароход о подводные камни, как это было три года тому назад? Опять выстрелил капитан из пистолета в свою пре-

лестную и печальную жену? Нет, кругом не ночь, не море и не зимний полдень на Елисаветинской, а очень светлый, полный шума и дыма ресторан: это пьяный капитан ударил кулаком по столу и кричит художнику:

— Вздор, вздор! Золотое кольцо в ноздре свиньи, вот кто твоя женщина! «Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими: зайдем, будем упиваться нежностью, потому что мужа нет дома...» А-а, женщина! «Дом ее ведет к смерти и стези ее — к мертвецам...» Но довольно, довольно, друг мой. Пора, запирают, — идем!

И через минуту капитан, Чанг и художник на темной улице, где ветер с снегом задувает фонари. Капитан целует художника, и они расходятся в разные стороны. Чанг, полусонный, угрюмый, бочком бежит по тротуару за быстро идущим и шатающимся капитаном... Опять прошел день, — сон или действительность? — и опять в мире тьма, холод, утомление...

Так, однообразно, проходят дни и ночи Чанга. Как вдруг, однажды утром, мир, точно пароход, с разбегу налетает на скрытый от невнимательных глаз подводный риф. Проснувшись в одно зимнее утро, Чанг поражается великой тишиной, царящей в комнате. Он быстро вскакивает с места, кидается к постели капитана — и видит, что капитан лежит с закинутой назад головой, с лицом бледным и застывшим, с ресницами полуоткрытыми и недвижными. И, увидев эти ресницы, Чанг издает такой отчаянный вопль, точно его сшиб с ног и пополам перехватил мчащийся по бульвару автомобиль...

Потом, когда не стоит на пятах дверь комнаты, когда входят, уходят и снова приходят, громко разговаривая, самые разные люди — дворники, полицейские, художник в цилиндре и всякие другие господа, с которыми сживал капитан в ресторанах, — Чанг как бы каменеет... О, как страшно говорил когда-то

капитан: «В тот день задрожат стерегущие дом и по-мрачатся смотрящие в окно; и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы: ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его плакальщицы; ибо разбился кувшин у источника и обрушилось колесо над колодезем...» Но теперь Чанг не чувствует даже ужаса. Он лежит на полу, мордой в угол, крепко закрывши глаза, чтобы не видеть мира, чтобы забыть о нем. И мир шумит над ним глухо и отдаленно, как море над тем, кто все глубже и глубже опускается в его бездну.

А снова приходит он в себя уже на паперти, у дверей костела. Он сидит возле них с поникшей головой, тупой, полумертвый — только весь дрожит мелкой дрожью. И вдруг распахивается дверь костела — и ударяет в глаза и в сердце Чанга дивная, вся звучащая и поющая картина: перед Чангом полутемный готический чертог, красные звезды огней, целый лес тропических растений, высоко вознесенный на черный помост гроб из дуба, черная толпа народа, две дивные в своей мраморной красоте и глубоком трауре женщины, — точно две сестры разных возрастов, — а надо всем этим — гул, громы, клир звонко вопиющих о какой-то скорбной радости ангелов, торжество, смятение, величие — и все собой покрывающие неземные песнопения. И дыбом становится вся шерсть на Чанге от боли и восторга перед этим звучащим видением. И художник, с красными глазами вышедший в эту минуту из костела, в изумлении останавливается:

— Чанг! — тревожно говорит он, наклоняясь к Чангу: — Чанг, что с тобою?

И, коснувшись задрожавшей рукою головы Чанга, наклоняется еще ниже — и глаза их, полные слез, встречаются в такой любви друг к другу, что все существо Чанга беззвучно кричит всему миру: ах, нет,

нет — есть на земле еще какая-то, мне неведомая, третья правда!

В этот день, возвратясь с кладбища, Чанг переселяется в дом своего третьего хозяина — снова на вышку, на чердак, но теплый, благоухающий сигарой, устланный коврами, уставленный старинной мебелью, увешанный огромными картинами и парчевыми тканями... Темнеет, камин полон раскаленными, сумрачно-алыми грудями жара, новый хозяин Чанга сидит в кресле. Он, возвратясь домой, даже не снял пальто и цилиндра, сел с сигарой в глубокое кресло и курит, смотрит в сумрак своей мастерской. А Чанг лежит на ковре возле камина, закрыв глаза, положив морду на лапы.

Кто-то тоже лежит теперь — там, за темнеющим городом, за оградой кладбища, в том, что называется склепом, могилой. Но этот кто-то не капитан, нет. Если Чанг любит и чувствует капитана, видит его взором памяти, того божественного, чего никто не понимает, значит, еще с ним капитан: в том безначальном и бесконечном мире, что не доступен Смерти. В мире этом должна быть только одна правда, — третья, — а какая она — про то знает тот последний Хозяин, к которому уже скоро должен возвратиться и Чанг.

Васильевское, 1916 г.

ЛИРНИК РОДИОН

Сказывал и пел этот «Стих о сироте» молодой лирник Родион, рябой слепец, без поводыря странствовавший куда Бог на душу положит: от Гадяча на Сулу, от Лубен на Умань, от Хортицы к гирлам, к лиманам. Сказывал и пел на пароходике «Олег» в Херсонских плавнях, в низовьях Днепра, в теплый и темный весенний вечер.

Из конца в конец Днепровья странствовал и я в ту весну. В Полтавщине она была прохладная, с звонкими ветрами «суховіями», с изумрудом озимей, с голыми метлами хуторских тополей, далеко видных среди равнин, где, как в море, были малы и терялись люди, пахавшие на волах под яровое. А на юге тополя уже оделись, зеленели и церковно благоухали. Розовым цветом цвели сады, празднично белели большие старинные села, и еще праздновали, наряжались молодые казачки: еще недавно смолк пасхальный звон, под ветряками и плетнями еще валялась скорлупа крашеных яиц. В гирлах же было совсем лето, много стрекоз вилоь над очеретом, много скиглило рыбалок, отражавшихся в серебристых разливах реки.

На юг, в Никополь и дальше плыл я на этом «Олеге»; очень грязном и ветхом; весь дрожа, все время дымя и поспешно шумя колесами, медленно тянулся он среди необозримых камышевых зарослей и полноводных затонов. В первом классе «Олега» никого не было, кроме какой-то девицы, знакомой капитана, державшейся особняком. Во втором было не-

сколько евреев, с утра до ночи игравших в карты, да какой-то давно небритый, нищий актер. А на нижней палубе набилось душ полтора ста хохлушек, пливших куда-то на весенние заработки. Днем у них было шумно, тесно, жарко; днем они ели, пили, ссорились, спали. Вечерами долго сумерничали, разговоры вели мирные, задумчивые, вполголоса пели.

Этот вечер был особенно прекрасен, особенно располагал к тому.

По палубе бродила, останавливалась и притворялась залюбовавшейся облаками на закате знакомая капитана. Она накинула на голову зеленый газ, тонкий, как паутина, обвила его концы вокруг шеи, и сумеречный ветерок чуть играл ими. Она была в прозрачной кофточке, высока и так хрупка станом, что, казалось, вот-вот он переломится. Одной рукой она придерживала газ, другой — юбку, обтягивая ею ноги. А за нею все время следил актер.

Актер боком прислонился к спинке скамьи и закинул ногу на ногу, как бы показывая, что он ничуть не стесняется своими ужасными ботинками. Он поднял воротник клетчатого пальто с широким хлястиком на поясице, надвинул на лоб широкополую шляпу и, шевеля тросточкой, поводил глазами.

Девушка гуляла, останавливалась, будто и не замечала его. Но взгляды из-под широкополой шляпы делались все пристальнее. Внезапно, вздрогнув, как бы от вечерней свежести, она вскинула брови, подхватила юбку и, будто беззаботно, побежала по трапу вниз. И, прикрыв глаза, актер притворился дремлющим. За мягкой чернотой правобережья, его ветряков и косогоров, слившихся с затоками, с густыми камышами, медленно блекли в чем-то сумрачно-алом слабые очертания мутно-синих облаков. В вышине, проступали мелкие, бледные звезды. «Олег», дымя, дрожал и однообразно шумел колесами... И вот,

вполслова, стройным хором, запели хохлушки, выпавшиеся за день.

Я в те годы был влюблен в Малороссию, в ее села и степи, жадно искал сближения с ее народом, жадно слушал песни, душу его. Пел он чаще всего меланхолично, как и подобает сыну степей; пел на церковный лад, как и должен петь тот, чье рождение, труд, любовь, семья, старость и смерть как бы служение; пел то гордо и строго, то с глубокой нежностью. С ярмарки на ярмарку, в передвижениях гуртами на работы часто сопровождали его бандуристы и лирники, наводившие мужчин на воспоминания о былой вольности, о казацких походах, а женщин на певучие думы о разлуках с сыновьями, с мужьями, с любимыми. Бог благословил меня счастьем видеть и слышать многих из этих странников, вся жизнь которых была мечтой, и песней, душе которых были еще близки и дни Богдана, и дни Сечи, и даже те дни, за которыми уже проступает сказочная, древнеславянская синь Карпатских высот. Родион, случайно пристравший к женщинам и плывший вместе с ними, был молод и безвестен. Он говорил, что даже не считает себя певцом, лирником. Но певец он был поистине удивительный. Если он еще жив, Бог, верно, дал ему старость счастливую и отрадную за ту радость, что давал он людям.

Слепые народ сложный, тяжелый. Родион не похож был на слепца. Простой, открытый, легкий, он совмещал в себе все: строгость и нежность, горячую веру и отсутствие показной набожности, серьезность и беззаботность. Он пел и «псалмы», и «думы», и любовное, и «про Хому», и про Почаевскую Божию Матерь, — и легкость, с которой он менялся, была очаровательна: он принадлежал к тем редким людям, все существо коих — вкус, чуткость, мера. Голова у него была небольшая, темные волосы, ровно под-

рубленные в кружок, закрывали чолкой лоб. Сухое, рябое лицо с закрытыми и глубоко запавшими маленькими веками без ресниц обычно ничего не выражало. Но лишь только он открывал рот, чтобы петь и играть, оно преображалось: одними движениями бровей и улыбками, озарявшими его лицо на множество ладов, он выражал тончайшие и разнообразнейшие чувства и мысли. Ростом он был невелик, плечи имел узкие, покатые и худощавые, пальцы тонкие и цепкие. Носил короткую сермяжную свитку, огромные сапоги. И чудесно, по-славянски краснела ленточка, которой завязывал он ворот своей сорочки из сурового холста.

В этот сумеречный и теплый вечер женщины начали со старинной казацкой песни о сыне и матери, ласково и безнадежно уговаривавшей его не губить своей молодости ради одной пьяной удали. Кончив ее протяжные, спокойные и грустные укоры, — «ой ты, сыну, мій сынъ, ты дытына моя!» — долго не запевали другой; запели-было в три голоса какую-то визгливую, мещанскую и тотчас бросили. Родион вполголоса занял первую строку песни еще более старинной, чем о матери и сыне, — «край Дунаю трава шумить» — и вдруг окликнул кого-то какой-то прибауткой, и вокруг него радостно прыснули, покатались со смеху.

И долго только шутки, тихий говор слышались в дремоте теплой вечерней тьмы, среди ровного, уже ночного шума колес. Кое-где по смутно чернеющим берегам шли поздние огоньки. Впереди, на чуть видном затоне, между двух черных стен камыша, ночной рыбак лучил рыбу: спокойное отражение его огня в воде было похоже на зажженную длинную восковую свечу. Кто-то заговорил о Киеве. Может быть, глядя именно на это отражение, заговорили о Софиевском соборе, о Михайловском, — многие впервые побыва-

ли на этом пути в Киеве, — и стали с умилением дивиться их красоте и ужасаться картинам Страшного Суда, которыми славятся многие киевские церкви. Тогда, как бы продолжая их мерную речь, медленно и певуче заныла, заскрежетала и зажужжала старая лира Родиона.

Он как бы тоже перебирал в своей памяти картины соборов, проходов под златоверхими колокольнями, темных и тесных полуподземных приделов. И, дойдя до картин судных, усилил тон: лира его зажужжала и запела смелее, тверже. Послышались вздохи, слабые восклицания нежности и грусти. И он еще усилил — и сквозь восточную, степную меланхолию мотива ясно проступило подобие органного хора. Он почувствовал, понял, что именно должен спеть он для своих слушательниц, и стал им, матерям и невестам, сказывать нечто самое близкое женскому сердцу, — о сироте и о мачехе, — мешая органные угрозы и назидания с песней, с мягкими славянскими укорами.

— Ой, зашуміли луги ще й бистрії рікі, — вздохнул и строго сказал он, возвысив голос и заглушив лиру.

И пояснил, снова уступая место ее звенящему жужжанию:

— Померла матинка, zostалися діти...

Потом он просто и серьезно стал напоминать женскому сердцу, — сердцу и беспощадному и жалостливому, — какова она, эта сиротская доля. Отец, сказал он, тот утешится:

— Отець жону знайде, буде в парі жити...

А сиротам никто не заменит родной матери:

— Нещасні сірїткі — ті підуть служити...

Но не спасет их, сказал он, никакая служба, никакая самая старательная работа:

— Що сирота робить — работа ні за що, а люди говорять: сирота ледащо!

Одним тоном слов и лиры он дал трогательный образ всем чужого, всем покорного ребенка, стриженной, босой, в грязной сорочке и старенькой плахте девочки. Она долго опускала заплаканные глазки, долго надеялась терпением и непосильным трудом снискать милость мачехи — но напрасно: даже родной отец, раб этой безжалостной, хозяйственной женщины, избегал глядеть на свою сироту, боялся хотя бы словом вступиться за нее. А уж если родному отцу в тягость собственное дитя, то где же правда, где справедливость, где сострадание? Их надо искать по свету, по миру, паче же всего где-то там, куда скрылась мать, единственный нескудеющий источник нежности. — И, опять со вздоха возвышая свой грудной голос, опять усиливая звенящий тон лиры, Родион продолжал:

— Ой, пішла сірїтка темнимі лугами, — вмивається сірїтка дрібними сльозами. Не могла сірїтка мачусі вгодити, — ой пішла сірїтка по світу блудити: по світу блукати, матинкі шукати...

Сын народа, не отделяющего земли от неба, он просто и кратко рассказал о страшной встрече ее «в темных лугах», в светлые пасхальные дни, с Самим воскресшим Господом:

— Тай зустривъ її Христос, ставъ її питати: «Куди йдешъ, сірїтка?» — «Матери шукати». — «Ой, не йди, сірїтка, бо далеко зайдешъ, вже-жъ своєю матинки й по вікъ не знайдешъ: бо твоя матинка на високій горі, тіло спочиває у смутному гробі...»

С великой нежностью, но все также просто передал он горькую «розмову» сироты с матерью, — точнее говоря, с «Янголем» (ангелом), отзывавшимся из могилы за усопшую:

— Ой, пішла сірітка на той гроб ридати: чи не обізветься в гробу рідна мати? Обізвався Янголь, якъ рідная мати, та й ставъ її стихо, словесно питати:

— Хто це гірко плаче
На мойому гробі?
— Ох, це я, матинко:
Прийми мене к собі!
— Насипано землі,
Що вже-жъ я не встану,
Сліпилися очі,
Вже й на світъ не гляну!
Ох, якъ тяжко, важко
Каміння глодати:
А ще тяжче, важче
Тебе к собі взяти!
Нема тутъ, сірітка,
Ні їсти, ні піти,
Тільки велівъ Господь
В сирій землі гніти!
Пішла бъ ти сірітка,
Мачусі бъ просила:
Може-бъ змілувалась —
Сорочку пошила...

И с непередаваемою трогательностью ответил ребенок Ангелу-матери:

— Я жъ її просила, я жъ її годила. А злая мачуха сорочки не шила!

Как все истинные художники, Родион сердцем знал, когда надо сказать, когда помолчать. Сказав последние слова, он смолк, опустил незрячие очи, наслаждаясь горькими и счастливыми вздохами своих слушательниц. А насладившись, вдруг грозно и радостно возвысил голос и развернул уже иные картины — картины Христова суда, Его возмездия:

— Посилає Христос-Богъ Янголевъ отъ Себе, — сказал он торжественно, чистым и звонким голосом: — візьміть ту сірітку, посадить сірітку у світлому раю, у Господа-Бога, у честі і славі!

И со скрежетом и звоном лиры далеко разлил свой зазвеневший от радостного гнева плач:

Посилає Богъ зъ пекла
По злую мачуху,
По злую мачуху
І по її духу:

Підніміть мачуху
У гору високо,
Закіньте мачуху
У пекло глибоко!

Кончив, он опять помолчал и твердо сказал обычным голосом, без лиры:

— Слушайте жъ, люде: хто сіроти має, нехай доглядає, на путь наставляє.

И сказав, уже не нарушил молчания ни единым добавлением. Только долго покрывал сказанное однообразным нытьем, ропотом лиры, как бы смягчая силу впечатления.

Актер спал, прислонясь к скамейке. Выходила большая теплая луна, видно было его лицо, грустное во сне. Тускло золотились под луной дальние чащи черных камышей. Широкий золотой столб погружался в зеркальную глубину между ними, и жабы, чувствуя лунный свет, начали сладострастно, изнемогая, стонать в них, похохатывать. Следуя изгибам затонов, «Олег», все поворачивал; и тянуло то теплом, то сыростью, гнилью — весною, плавнями. Только крупные лучистые звезды остались в небе, и дым из трубы поднимался прямее, выше...

А записывал я стих про сироту в Никополе, в жаркий полдень, среди многолюдного базара, среди телег и волов, запаха их помета и сена, сидя вместе с Родионом прямо на земле. Диктовал Родион ласково и снисходительно, повторяя одно и то же по несколько раз, и порою останавливался, сдерживая легкую досаду, когда я ошибался. А чем я был виноват? Некоторые стихи он говорил то так, то сяк, кое-что улучшая по своему вкусу.

Когда мы кончили, он долго что-то додумывал, и солнце пекло его непокрытую голову, его незрячее, ничего не выражающее лицо. Потом с тонкой улыбкой намекнул насчет корчмы. Я положил в его ладонь несколько пятаков. Он быстро зажал их своими цепкими пальцами, быстро приподнялся, сунув лиру под мышку, и, поймав мою руку, радостно и осторожно поцеловал ее.

Капри, 1913 г.

Ж Е Р Т В А

Семен Новиков, живший с братом своим, сухо-руким Никоном, петровками горел. Братья согласились поделиться, и Семен, выселяясь из Брода, рубил себе избу на большой дороге.

Под Ильин день плотники отпросились ко двору. Надо было ночевать на постройке Семену. Поужинав вместе с большой семьей брата, в тесноте, среди мух, он закурил трубку, накинул полушубок и сказал своим:

— У вас тут духота. Пойду на постройку, там ночую.

— Ты хоть собак-то возьми, — ответили ему.

— Вона! — сказал Семен и пошел один.

Ночь была месячная. За думами о будущем дворе Семен и не заметил, как поднялся из села по широкому прогону на гору и отмахал по большой дороге с версту — до своей запотолоченной, но еще не покрытой избы, стоявшей на опушке хлебов, в пустом поле, черневшей окнами без рам и тускло блестевшей против месяца концами свежих бревен по углам, паклей, торчавшей из пазов, и щепой на пороге. Низкий июльский месяц, поднявшийся за оврагами Брода, был мутен. Теплый свет его рассеивался. Спелые хлеба тускло, сумрачно белели впереди. А к северу было и совсем хмуро. Там заходила туча. Мягкий ветер, дувший со всех сторон, иногда усиливался, порывисто бежал по ржам и овсам — и они сухо, тревожно шелестели. Туча на севере казалась

неподвижной, но часто подергивалась золотым быстрым блеском.

Семен, по привычке сгибаясь, вошел в избу. В ней было темно и душно. Желтый месячный свет, глядевший в пустоты окон, не мешался с темнотой, только увеличивал ее. Семен кинул полушубок на стружки посреди избы, как раз на одной из полос света, лег на спину. Пососав потухшую трубку и подумав еще маленько, заснул.

Но вот понесло в окна ветром, глухо заворчало вдали. Семен очнулся. Ветер усилился — он бежал теперь по горячечно шумящим хлебам непрерывно, и свет месяца стал еще тусклей. Семен вышел из избы за угол, в сухо и знойно шуршавшие, бледные, как саван, овсы, посмотрел на тучу. Она, темно-аспидная, заняла полнеба. Ветер дул прямо в лицо, задирал, путал волосы и мешал смотреть. Мешали смотреть, слепили и молнии, загорававшиеся все жарче и грозней. Семен, крестясь, стал на колени: вдали, среди овсяного моря, выделяясь на стене туч, двигалась на Семена небольшая толпа, с обнаженными головами, в белых подпоясках, в новых полушубках, — с трудом несла сажённый запрестольный образ древнего письма. Толпа была туманная, прозрачная, но образ виден хорошо — страшный, строгий лик, красневший на черной доске, опаленной свечами, закапанной воском, окованной старым, сизым серебром.

Ветер разобрал волосы на лбу Семена, приятно отдувая их, — и Семен, в страхе и радости, до земли поклонился образу. Когда же поднял голову, то увидел, что толпа стоит, неловко держа величаво откинутый образ, а на туче, как церковная картина, высится огромный зрак: белобрадый, могутный Илья в огненном одеянии, сидящий, как Бог-Саваоё, на мертвенно-синих клубках облаков, а над ним — две горящих по аспиду зелено-оранжевых радуги. И, бле-

стя очами-молниями, голос свой сливая с гулом, с громами, сказал Илья:

— Держись прямой, Семен Новиков! Слушайте, князья-хрестьяне, вот я буду судить его, временно-обязанного хрестьянина Елецкого уезда, Предтечевской волости, Семена Новикова.

И все поле, белевшее вокруг, все колосья его вместе с куколем понесли, побежали вперед, поклоняясь Илье, и в шуме их сказал Илья:

— Я серчал на тебя, Семен Новиков, желал показать тебя.

— За что, Батюшка? — спросил Семен.

— Непристойно тебе, Семен Новиков, меня, Илью, спрашивать. Ты должен ответ держать.

— Ну, ин, будь по-твоему, — ответил Семен.

— Позалетошний год я убил молоньей Пантелея, старшого твоего: ты зачем закопал его в землю по пояс, колдовством воротил его жить?

— Прости, Батюшка, — сказал Семен, кланяясь. — Жалко было малого. Рассуди: ведь кормилец-поилец при старости.

— Летошний год я посек, повалил твою рожь градом-вихрями: ты зачем прознал о том загодя, за-продал эту рожь на корню?

— Прости, Батюшка, — сказал Семен, кланяясь. — Сердце чуяло, нуждишка была.

— Ну, а нонче, в Петровки, не я ли спалил тебя? Ты зачем спешишь строиться, отделяешься?

— Прости, Батюшка, — сказал Семен, кланяясь. — Сухорукий брат мой несчастливый: от него и все беды, думалось.

— Закрой глаза. Я подумаю, посоветуюсь, чем казнить тебя?

Семен закрыл глаза, склонил голову. Ветер шумел, — он старался сквозь шум его тайком поймать, о чем шепчется Илья с крестьянами. Но опять загремело над ним — ничего не стало слышно.

— Нет, не придумаем, — во весь голос сказал Илья. Сам посоветуй мне.

— А глаза-то открыть? — спросил Семен.

— Не надобе. Слепой тверже думает.

— Чудён ты, Батюшка, — серьезно усмехнулся Семен. — Да и что ж тут придумывать? Поставлю тебе свечку трехрублевую.

— Не из чего. На постройку потратился.

— Тогда в Киев схожу.

— Это только бездельничать, лапти трепать. На кого же хозяйство останется?

Семен задумался.

— Ну, девчонку, Анфиску, убей. Ей и всего-то второй годок. Девочка, сказать по совести, умильная, — жалко нам будет ее, да ведь что ж сделаешь? Все не с малым сменить.

— Прислушайте, православные, — громко сказал Илья. — Соглашаюсь!

И такой огонь разорвал всю высь, что у Семена чуть веки не вспыхнули, и такой удар расколол небеса, что вся земля под ним дрогнула.

— Свят, свят, свят, Господь-Бог-Саваоѳ! — прошептал Семен.

Очнувшись, открыв глаза, он увидел лишь пыль-

ную тучу, хлеба и себя самого, на коленях стоящего в них. Пыль вихрем неслась по дороге и месяц совсем замутился.

Семен вскочил на ноги. Позабыв о полушубке, он поспешно пошел к себе. Крупный дождь захватил его на выгоне. Темные облака надвинулись над стемневшими оврагами. Красный месяц закатывался. Село спало крепким сном, но скотина по дворам беспокоилась, петухи орали. И, подбегая к своей старой избе, Семен услышал в ней вопли. У порога стоял сухорукий Никон, в полушубке и без шапки, тощий и морщинистый, глядел тупо и растерянно:

— Беда у тебя, — сказал он, и по голосу его было слышно, что он еще не совсем проснулся.

Семен вбежал в избу. Бабы с криком метались в темноте, ища серников. Семен выхватил из-за образа коробочек, зажег каганец: люлька, повешенная возле печи, носилась из стороны в сторону, — бабы задевали ее, бегая, — а в люльке лежала вся сизая, мертвая девочка, и на головке ее чепчик тлел.

Жил Семен с тех пор счастливо.

Капри, 1913 г.

С Л Е З Ы

Подошла к воротам усадьбы старуха, побирушка. Старушечьи лохмотья, старушечьи прямые чулки на сухих ногах, замученные глаза...

Дал ей полтинник, попробовал разговориться:

— Ну вот, бабушка, везде ты ходишь, везде бываешь, — небось, много интересного видишь?

Горько заплакала:

— Да что ж поделаешь, батюшка, конечно, видишь!

Ковылял по выгону дурачок Ваня, седой, стриженный клоками, в одной бабьей рубахе, с сумой через плечо:

— Ваня, здорово! Как поживаешь?

Косноязычно, слюняво и радостно:

— С большими слезами, папаша! С большими слезами!

1930 г.

МАРЬЯ

В избе, после сытного, праздничного обеда.

Работники в сапогах, в чистых рубашках, подстрижены, с красными, бритыми сзади шеями.

Рычат, ловко вторят две гармоньи:

Рáздáйся, нарóд:
Трепакóм идет Федóт!

Илюшка и Наташа ходят друг перед другом, постукивают каблуками, не глядя друг на друга.

— Марья, а что ж ты сидишь?

Не отвечает, с сумрачной усмешкой щелкает подсолнухи.

— Ну хоть выходку сделай!

Мотает головой, исподлобья поглядывает на пляшущих своими далеко расставленными, в переносицу косящими черными глазами.

И вдруг встает, поправляет платок на плечах...

Ах, Бог мой, как пошла!

Нехороша, немолода, невелика, сухощава, а у всех замирает сердце: какая сжатость сил, тайной страсти и какой оттого пуший блеск, лад!

Илюшка раздувает ноздри, дробит в пол каблуками, наступает:

Ух, сыпь чащё,
Подавай слащё!

Она плывет мимо, говоря небрежно, вскользь, как неживая:

Я ходила, подавала,
А тебе все мало, мало...

1930 г.

П О Ж А Р

Богатый мужицкий хутор.

Загорелось, когда кончали ужинать, темным и сухим осенним вечером.

Зажгли какие-то злодеи с гумна, и на нем все сгорело. Но ригу сыновья хозяина отстояли.

Хозяин, огромный, толстый мужик, все время сидел на крыльце избы неподвижно. На гумне был ад — там бешено орали и гасили огонь его сыновья и бабы. Он же только глядел, как странно и светло был озарен весь двор красным полымем, как блистал алым зеркалом пруд и розовыми трепетными клубами стояли над двором в высоком небе облака, освещаемые исподу. Он все говорил — очень спокойно:

— Бог дал, Бог взял. Мне это все равно, я этого не чую и не чувствую.

Когда же все догорело, потухло, стал рыдать и рыдал не переставая сутки, лежа вниз лицом в риге возле ворот, на старновке. В темноте, в дыры ворот, сверкали на ней алые пятна солнца и ходил, ковылял одинокий белый голубок, опаленный на пожаре.

1930 г.

РУСЬ

Старуха приехала в Москву издалека. Свой северный край называет Русью. Большая, бокастая, ходит в валенках, в теплой стеганной безрукавке. Лицо крупное, желтоглазое, в космах толстых седых волос, — лицо восемнадцатого века.

Спросил ее как-то:

— А сколько вам лет будет?

— Семьдесят семь, господин милый.

— А вы, дай Бог не сглазить, еще совсем хоть куда!

— А что ж мне? Это года не велики. Наш родитель до ста лет дожил.

Чаю она не пьет, сахару не ест. Пьет горячую воду с черным хлебом, с селедкой или солеными огурцами.

— Вы никогда, небось, не хворали?

— Нет, трясовица была на мне, порча на мне была. Мужа страшилась: как он ко мне с любовным чувством, меня и начинало трясти, корежить. Сжечь бы ее, ту, что напустила на меня это!

Слово «сжечь» одно из ее любимых. Про большевиков говорит очень строго:

— Не смеют они так про Бога говорить. Бог наш, а не их. Сжечь бы их всех!

Ее рассказы о родине величавы. Леса там темны, дремучи. Снега выше вековых сосен. Бабы, мужики шибко едут в лубяных санках, на кубастых лохматых коньках, все в лазоревых, крашеных тулупах со стоячими аршинными воротами из жесткого псиного меха и в таких же шапках. Морозы грудь насквозь прожигают. Солнце на закате играет как в сказке: то блестит лиловым, то кумачевым, а то все кругом рядит в золото или зелень. Звезды ночью — в лебяжье яйцо.

1930 г.

ЖУРАВЛИ

Ясный и холодный день поздней осени, еду ровной рысцой по большой дороге. Блеск низкого солнца и пустых полей, осеннее безмолвное ожидание чего-то. Но вот вдали, за мной слышен треск колес. Прислушиваюсь — треск мелкий, быстрый, треск беговых дрожек. Оборачиваюсь — кто-то нагоняет. Этот кто-то все ближе, ближе — уже хорошо видна его во весь дух летящая лошадь, затем он сам, то и дело выглядывающий из-за нее и покрывающий ее то кнутом, то вожжами... Что такое? А он уж вот он, настигает — сквозь треск слышно мощное лошадиное дыхание, слышен отчаянный крик: «Барин, сторонись!» В страхе и недоумении вилую с дороги — и тотчас же мимо мелькает сперва чудесная, гнедая кобыла, ее глаз, ноздря, новые вожжи сургучного цвета, новая блестящая сбруя, взмыленная под хвостом на ляжках, потом сам седок — чернобородый красавец мужик, совершенно шальной от скачки и какого-то бессмысленного, на все готового иступленья. Он бешено кидает на меня, пролетая, свой яростный взгляд, поражает свежей красной пастью и смолью красивой молодой бороды, новым картузом, желтой шелковой рубахой под распахнувшейся черной поддевкой — узнаю: богатый, хозяйственный мельник из-под Ливен — и как ветер летит дальше. А пролетев с версту, сразу соскакивает с дрожек. Тут уж я гоню к нему и, приближаясь, вижу: лошадь стоит на дороге и тяжело носит боками, сургучные вожжи висят по оглоблям, а сам

седок лежит на дороге возле, лицом книзу, раскинув
полы поддевки.

— Барин! — дико кричит он в землю. — Барин!
И отчаянно взмахивает руками:

— Ах, грустно-о! Ах, улетели журавли, барин!

И, мотая головой, захлебывается пьяными сле-
зами.

1930 г.

НА БАЗАРНОЙ

— Вам что-нибудь по хозяйству или гробик?

На Базарной улице всем торгуют: тут магазины красного товара, часовой магазин, аптекарский магазин, москательные и колониальные лавки, скобяные, посудные, а еще дальше, совсем возле базара, те растворы и сараи, где выставлены наружу метла, гробы, лопаты, грабли, новые, черно-блестящие по втулкам колеса... Июль, будни, день сухой и жаркий, на Базарной улице пусто — всего один случайный покупатель, мужик из уезда: рысью прогремел от собора, снизу, — сразу видно, что по спешному делу, — и остановился перед самым большим раствором. Бросил веревочные возжи на свою кобыленку с дробными, как у осла, ногами, соскочил с грядки пыльной телеги, набитой соломой, двинул на затылок горячую шапку, стоит и смотрит.

— Что-нибудь по сельскому обиходу или гробик?

— Гробик...

— Выбор огромный. Вам поскромней или понарядней?

Мужик переводит глаза с манящих своей новизной лопат и метел на то, что нужно, — что так грубо чернеет сухой дешевой краской, белея крестами на крышах и крылатыми детскими головками по скатам крышек.

— Да, конечно, что-нибудь получче...

— А, собственно, для кого-же? Для младенца? Для отрока или отроковицы? Для старичка или старушки?

— Для младенца, милый, я не стал бы себя бес-

покоить в такую пору. Для младенца я бы сам какую-нибудь херовинку сколотил. А тут всю косьбу бросил в поле...

— Значит, для родителя или для мамы?

— То-то и дело, что для мамы...

— А какого приблизительно были они росточку? Пропорциональной женской меры?

Мужик, выбирая гроб глазами, ребром ладони проводит себя от плеча к плечу.

— Тогда чего ж лучше модель, например, такого рода?

И приказчик быстро кладет руку на возглавие лилового гроба, одним ловким кругообразным движением отделяет его от прочих и ставит перед мужем на тротуаре.

— Этот, думается, дюже мелок. Она, правда, худала...

— Гроб не первого разряда завсегда довольно мелок, но вмещает вполне прилично.

— А прочен?

— С ручательством за полную солидарность. До Второго Пришествия хватит.

— А ну-ка открой-ка...

Приказчик отнимает крышку. Мужик, наклоняясь, внимательно смотрит. Внутри гроб некрашен, тес там золотистый, шершавый, хорошо и сухо пахнет, кое-где в желтых смоляных каплях. Дно, однако, не из цельной тесины, а из двух и притом неровных, уж совсем корявых, плохо пригнанных друг к другу, а главное, с дырой от спиленного и выпавшего сучка, от его выскочившей пробки. И мужик, оживляясь, в радостной надежде на большую уступку:

— Нет, этот со свищем, с изъяном! Это брак, милый! Возьму, если скинешь с пятерки. И то только ради мамы!

1930 г.

СТРАШНЫЙ РАССКАЗ

В голом, обезображенном зимней смертью парке, черневшем перед домом, была темнота и пустынность мартовской ночи, и на старый, серый снег порошил молодой, белый, нежный, как лебяжий пух.

Они, — известно только то, что их было двое, — сидели в парке с вечера, выжидали самого глухого часа.

И дом зорко глядел в темный парк множеством освещенных окон: она, эта старая француженка в каштановом парике и с выпуклыми рачьими глазами, за отъездом хозяев в город жившая в доме совсем одна, чувствовала зловещее присутствие тех, что стерегли ее: она осветила все комнаты, — а их было много и все они были большие, — она решила не спать всю ночь и все ходила из комнаты в комнату, по всему пустому и блистающему лампами и канделябрами дому.

Страннее всего то, что вместо того, чтобы пойти в подвальный этаж, где спали горничная и прачка, или в людскую, где ночевала дворня, вместо того, чтобы позвать кого-нибудь к себе, она, уже твердо зная свою обреченность, только ходила из комнаты в комнату и даже вздумала писать записочки.

Она писала:

— Двенадцать с четвертью. Все хожу и хожу! Чувствую, что я погибла. В саду кто-то есть. Я даже знаю, что их двое...

— Только что пробило час — внизу, на больших часах в вестибюле. Пробило страшно и торжественно... Один из них — маленький, с кривыми, как у таксы, ногами. Но я не буду спать всю ночь, я буду защищаться...

Она играла на рояли кэк-уок, — много раз принималась играть, играла бурно, с отчаянным весельем, и все обрывала:

— Как сумасшедшая, играю кэк-уок, писала она. Ужас мой доходит до экстаза...

Потом она перебирала книги в шкапу в кабинете, смотрела и бросала их на пол, оставила все дверцы открытыми. Она выбирала что-нибудь почитать и взяла наконец том географии Реклю.

На хозяйском письменном столе она оставила еще одну записку:

— Боже мой! Но почему же должна быть этой жертвой я? Я буду защищаться, живой я не сдамся!

С Реклю в руках она прилегла на кабинетный диван и, развернув книгу, почитала некоторое время и даже сделала карандашом несколько отметок.

На этом же диване и нашли ее утром, — с перерезанным горлом, без парика, с голым черепом, с дикими, рачьими глазами, стоячими, изумленными.

Стекла в двойных гостинных дверях, выходящих в сад на балкон, были выдавлены, вынуты. Ветер дул в гостиную, нес из белесого парка холодный пар, туман. И весь дом пылал огнями желтевшими в бледном свете сырого и белого, мглистого дня.

Кто зарезал? И зачем?

Зарезали они, те двое, что сидели в саду. А за-

чем — непостижимо: они не унесли, не тронули ни единой вещички.

Да, их было двое. Это доказывали мокрые, грязные следы, оставленные ими на паркете. И следы одного были не совсем обычны, широко расставлены друг от друга, кривы... Несомненно, он был криволап.

Их было двое. Но кто были они? Их не нашли, не поймали.

Все-таки самое страшное на земле — человек, его душа.

И особенно та, что, совершив свое страшное дело, утолив свою дьявольскую похоть, остается навсегда неведомой, непойманной, неразгаданной.

Где они теперь, эти двое? А ведь может быть, что они до сих пор живы, где-то что-то делают, ходят, едят, пьют, разговаривают, смеются, курят...

Париж, 1926 г.

У Б И Й Ц А

Дом с мезонином в Замоскворечьи. Деревянный. Чистые стекла, окрашен хорошей синеватой краской. Перед ним толпа и большой автомобиль, казенный. В растворенные двери подъезда виден на лестнице вверх коврик, серый, с красной дорожкой. И вся толпа смотрит туда с восхищением, слышен певучий голос:

— Да, милые, убила! Вдова молодая, богатого купеческого роду... Любила его, говорят, до страсти. А он только на ее достаток льстился, гулял с кем попало. Вот она и пригласила его к себе на прощанье, угощала, вином поила, все повторяла: «Дай мне на тебя наглядеться!» А потом и всадила ему, хмельному, нож в душу...

Открылось окно в мезонине, чья-то рука в белой военной перчатке дала знак автомобилю. Машина зашумела, народ раздался. И вот она показалась — сперва стройные ноги, потом полы собольей накидки, а потом и вся, во всем своем наряде — плавно, точно к венцу, в церковь, стала спускаться вниз по ступенькам. Бела и дородна, черные глаза и черные брови, голова открыта, причесана гладко, с прямым пробором, в ушах качаются, блещут длинные серьги. Лицо спокойно, ясно, на губах ласковая улыбка — ко всему народу... Вошла в машину, села, за ней вошли власти, человек в ловкой шинели строго и недовольно глянул на любопытных; хлопнула дверца, машина сразу взяла с места...

И все, глядя вслед, с восхищением:

— И-их, покатили, помчали!

1930 г.

ПОРУГАНЫЙ СПАС

— Нет, господин, не всяк Бога славит, а Бог себя явит. А когда и за что — одному Ему известно. Сколько именитых икон и соборов, сколько мощей по нашей местности! А вот было-же так: заболела смертной болезнью дочка одного нашего купца, девочка, и, Господи, Царица Небесная, чего только этот купец для своего чада ни делал! И докторов-то из Москвы выписывал, и молебны самые дорогие служил, и к мощам в Москву и к Троице возил, и все наши местные святости подымал, — ничего не помогает! А девочка все свое твердит: буду здоровая непременно, исцелюсь, мол, обязательно, только не от этого ото всего, а от Поруганного Спаса. — Ну, прекрасно, говорят ей отец, мать, верим и надеемся, только что это за Поруганный Спас и где Он находится? — А это, говорит, я во сне видела, Бог мне такое видение дал. — И того лучше, отвечают ей, но какой-же Он и где? — А вы, говорит, ищите, везде ходите и ищите. Я и сама не знаю, где Он. Знаю только, что поруганный и в большой хуле и бедности, брошен куда-то как попало и уж давно, еще при царице Василисе. — При какой такой царице Василисе? Такой, мол, и царицы никогда не было. — Ну уж этого я ничего не знаю, говорит. Знаю только, что Он совсем маленький, в одну пядь и вроде простой дощечки черной, с богохульной надписью, — только и всего. Главное то, что надо через всякую силу искать и обязательно найти... И что ж вы думаете, господин? Все

чердаки по всех домам и по всем церквам облазили, под всеми крышами колокольными ходили, все мусоры голубиные разрыли, и нашли же наконец того. И нашли-то где? Видели часовенку пониже базара? Лет тысячу, небось, стоит, гниет и всякое непотребство в ней бессовестным народом делается, а в ней, в мусоре, и нашли. И как только маленько, значит, обчистили, промыли, протерли и принесли в этот несчастный дом, дали девочке помолиться хорошенько на Него, приложиться к Нему и на грудь к себе взять, сразу-же девочка заплакала, зарыдала, затряслась от великой радости — и на ноги поднялась. Вскочила, бросилась к отцу-матери и кричит не своим голосом: «Милые мои родители, я теперь совсем здоровая! Зовите священников, давайте молебен служить! Это Он самый и есть, — Спас Поруганный. Гляньте, что на Нем написано!» — И что ж вы думаете? Ведь и тут правда оказалась. Обернули и прочли: «Не годится на Него молиться, годится горшки накрывать...»

Едем шагом, извозчик, рассказывая, сидит боком и вертит цыгарку, глядя в развернутый кисет. Кончив рассказ, бормочет: «Прости, Господи, мое согрешение, какие слова повторяю!» Летние долгие сумерки, Ростов Великий давно спит. Вдали все еще брезжит свет зари, но город давно пуст, безлюден, — один караульщик с колотушкой в руке медленно бредет по длинной пыльной улице. Тепло, тихо, грустно...

И несказанно прекрасны очертания церквей над сумраком земли, на чуть зеленоватом далеком закатном небе.

Париж, 1926 г.

С В Я Т И Т Е Л Ь

Двести лет тому назад, в некий зимний день, Святитель, имевший пребывание в некоем древнем монастыре, чувствовал себя особенно слабым и умиленным.

Вечером в его покое, перед многочисленными и прекрасными образами, горели лампы, а тепло изразцовой каменки и попоны, покрывавшие пол, давали сладостный уют. И Святитель, сидя и греясь на лежанке, тихо позвонил в колокольчик.

Неслышно вошел и тихо поклонился служка.

— Милый брат, позови ко мне певчих, — сказал Святитель. — Бог простит мне, недостойному, что я тревожу их в неурочный час.

И вскоре покой Святителя наполнился молодыми черноризцами, которые вошли в одних шерстяных чулках, — разулись, прежде чем войти.

И Святитель сказал в ответ на их зёмное метание:

— Милые братья, хотелось бы мне послушать мои юношеские песнопения во славу пречистого Рождества Господа нашего Иисуса Христа, Красоты нашей неизреченной.

И они стали вполголоса петь те песнопения, что Святитель созидал в своей ранней молодости.

И он слушал, часто плача и закрывая глаза рукой.

Когда же получили они отпуск и, поклонясь, стали выходить один за другим, Святитель задержал одного из них, любимейшего, и повел с ним долгую неспешную беседу.

Он рассказал ему всю свою жизнь.

Он говорил о своем детстве, отрочестве, о трудах и мечтах своей юности, о своих первых, сладчайших молитвенных восторгах.

Прощаясь же с ним вблизи полуночи, поцеловал его с лихорадочно-сияющим взором и поклонился ему в ноги.

И эта была последняя земная ночь Святителя: на рассвете обрели его почившим, — с двоерогим жезлом в руке стоял Он на коленях перед божницею, закинув назад свой тонкий и бледный лик, уже хладный и безгласный.

Так и пишется Он на одном древнем образе. И был этот образ самым заветным у одного святого, нам почти современного, — простого тамбовского мужика. И молясь перед ним, так обращался он к великому и славному Святителю:

— Митюшка, милый!

Только один Господь ведает меру неизреченной красоты русской души.

7.V.24.

КОСЦЫ

Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом березовом лесу по близости от нее — и пели.

Это было давно, это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вернется уже во веки.

Они косили и пели, и весь березовый лес, еще не утративший густоты и свежести, еще полный цветов и запахов, звучно откликался им.

Кругом нас были поля, глушь срединной, исконной России. Было предвечернее время июньского дня. Старая большая дорога, заросшая кудрявой муравой, изрезанная заглохшими колеями, следами давней жизни наших отцов и дедов, уходила перед нами в бесконечную русскую даль. Солнце склонялось на запад, стало заходить в красивые легкие облака, смягчая синь за дальними извалами полей и бросая к закату, где небо уже золотилось, великие светлые столпы, как пишут их на церковных картинах. Стадо овец серело впереди, старик пастух с подпаском сидел на меже, навивая кнут... Казалось, что нет да никогда и не было ни времени, ни деления его на века, на годы в этой забытой — или благословенной — Богом стране. И они шли и пели среди ее вечной полевой тишины, простоты и первобытности с какой-то былинной свободой и беззаветностью. И березовый лес принимал и подхватывал их песню так же свободно и вольно, как они пели.

Они были «дальние», рязанские. Они небольшой

артелью проходили по нашим, орловским, местам, помогая нашим сенокосам и подвигаясь на низы, на заработки во время рабочей поры в степях еще более плодородных, чем наши. И они были беззаботны, дружны, как бывают люди в дальнем и долгом пути, на отдыхе от всех семейных и хозяйственных уз, были «охочи к работе», несознанно радуясь ее красоте и спорости. Они были как-то стариннее и добротнее, чем наши, — в обычае, в повадке, в языке, — опрятней и красивей одеждой, своими мягкими кожаными бахилками, белыми ладно увязанными онучами, чистыми портками и рубашами с красными, кумачевыми воротами и такими же ластовицами.

Неделю тому назад они косили в ближнем от нас лесу, и я видел, проезжая верхом, как они заходили на работу, пополудновавши: они пили из деревянных жбанов родниковую воду, — так долго, так сладко, как пьют только звери да хорошие, здоровые русские батраки, — потом крестились и бодро сбегались к месту с белыми, блестящими, наведенными как бритва косами на плечах, на бегу вступали в ряд, косы пустили все враз, широко, играючи, и пошли, пошли вольной, ровной чередой. А на возвратном пути я видел их ужин. Они сидели на засвежевшей поляне возле потухшего костра, ложками таскали из чугуна куски чего-то розового.

Я сказал:

— Хлеб-соль, здравствуйте.

Они приветливо ответили:

— Доброго здоровья, милости просим!

Поляна спускалась к оврагу, открывая еще светлый за зелеными деревьями запад. И вдруг, приглядевшись, я с ужасом увидел, что то, что ели они, были страшные своим дурманом грибы-мухоморы. А они только засмеялись:

— Ничего, они сладкие, чистая курятина!

Теперь они пели: — «Ты прости, прощай, любезный друг!» — подвигались по березовому лесу, бездумно лишая его густых трав и цветов, и пели, сами не замечая того. И мы стояли и слушали их, чувствуя, что уже никогда не забыть нам этого предвечернего часа и никогда не понять, а главное, не высказать вполне, в чем такая дивная прелесть их пения.

Прелесть ее была в откликах, в звучности березового леса. Прелесть ее была в том, что никак не была она сама по себе: она была связана со всем, что видели, чувствовали и мы и они, эти рязанские косцы. Прелесть была в том несознаваемом, но кровном родстве, которое было между ими и нами — и между ими, нами и этим хлебородным полем, что окружало нас, этим полевым воздухом, которым дышали и они и мы с детства, этим предвечерним временем, этими облаками на уже розовеющем западе, этим свежим, молодым лесом, полным медвяных трав по́-пояс, диких несметных цветов и ягод, которые они поминутно срывали и ели, и этой большой дорогой, ее простором и заповедной далью. Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины и были все вместе и всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть. И еще в том была (уже совсем несознаваемая нами тогда) прелесть, что эта родина, этот наш общий дом была — Россия, и что только ее душа могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся на каждый их вздох березовом лесу.

Прелесть была в том, что это было как будто и не пение, а именно только вздохи, подъемы молодой, здоровой, певучей груди. Пела одна грудь, как когда-то пелись песни только в России и с той непосредственностью, с той несравненной легкостью, естественностью, которая была свойственна в песне только

русскому. Чувствовалось — человек так свеж, крепок, так наивен в неведении своих сил и талантов и так полон песнью, что ему нужно только легонько вздохнуть, чтобы отзывался весь лес на ту добрую и ласковую, а порой дерзкую и мощную звучность, которой наполняли его эти вздохи. Они подвигались, без малейшего усилия бросая вокруг себя косы, широкими полукругами обнажая перед собою поляны, окашивая, подбивая округ пней и кустов и без малейшего напряжения вздыхая, каждый по-своему, но в общем выражая одно, делая по наитию нечто единое, совершенно цельное, необыкновенно прекрасное. И прекрасны совершенно особой, чисто русской красотой были те чувства, что рассказывали они своими вздохами и полусловами вместе с откликающейся далью, глубиной леса.

Конечно, они «прощались, расставались» и с «родимой сторонешкой» и со своим счастьем, и с надеждами и с той, с кем это счастье соединялось:

Ты прости, прощай, любезный друг,
И родимая ах да прощай сторонешка! —

говорили, вздыхали они каждый по разному, с той или иной мерой грусти и любви, но с одинаковой беззаботно-безнадежной укоризной.

Ты прости, прощай, любезная, неверная моя,
По тебе ли сердце черней грязи сделалось! —

говорили они, по разному жалуясь и тоскуя, по разному ударяя на слова, и вдруг все разом сливались уже в совершенно согласном чувстве почти восторга перед своей гибелью, молодой дерзости перед судьбою и какого-то необыкновенного, всепрощающего великодушия, — точно встряхивали головами и кидали на весь лес:

Коль не любишь, не мил — Бог с тобою,
 Коли лучше найдешь — позабудешь! —

и по всему лесу откликалось на дружную силу, свободу и грудную звучность их голосов, замирало и опять, звучно гремя, подхватывало:

Ах, коли лучше найдешь — позабудешь,
 Коли хуже найдешь — пожалеешь!

В чем еще было очарование этой песни, ее неизбывная радость при всей ее будто бы безнадежности? В том, что человек все-таки не верил да и не мог верить, по своей силе и непочатости, в эту безнадежность. — «Ах, да все пути мне, мóлодцу, заказаны!» — говорил он, сладко оплакивая себя. Но не плачут сладко и не поют своих скорбей те, которым и впрямь нет нигде ни пути, ни дороги. — «Ты прости, прощай, родимая сторонушка!» — говорил человек — и знал, что все-таки нет ему подлинной разлуки с нею, с родиной, что куда бы ни забросила его доля, все будет над ним родное небо, а вокруг — беспредельная родная Русь, гибельная для него, балованного, разве только своей свободой, простором и сказочным богатством. — «Закатилось солнце красное за темные леса, ах, все пташки приумолкли, все садились по местам!» — Закатилось мое счастье, вздыхал он, темная ночь с ее глушью обступает меня, — и все-таки чувствовал: так кровно близок он с этой глушью, живой для него, девственной и преисполненной волшебными силами, что всюду есть у него приют, ночлег, есть чье-то заступничество, чья-то добрая забота, чей-то голос, шепчущий: — «Не тужи, утро вечера мудренее, для меня нет ничего невозможного, спи спокойно, дитятко!» — И из всяческих бед, по вере его, выручали его птицы и звери лесные, царевны прекрасные, премудрые и даже сама Баба-Яга, жа-

левшая его «по его младости». Были для него ковры-самолеты, шапки-невидимки, текли реки молочные, таились клады самоцветные, от всех смертных чар били ключи вечно живой воды, знал он молитвы и заклятия, чудодейные опять-таки по вере его, улетал из темниц, скинувшись ясным соколом, о сырую Землю-Мать ударившись, заступали его от лихих соседей и вóрогов дебри дремучие, черные топи болотные, пески летучие — и прощал милосердный Бог за все посвисты уда́лые, ножи острые, горячие...

Еще одно, говорю я, было в этой песне, — это то, что хорошо знали и мы и они, эти рязанские мужики, в глубине души, что бесконечно счастливы были мы в те дни, теперь уже бесконечно далекие — и невозвратимые. Ибо всему свой срок — миновала и для нас сказка: отказались от нас наши древние заступники, разбежались рысучие звери, разлетелись вещие птицы, свернулись самобранные скатерти, поруганы молитвы и заклятия, иссохла Мать-Сыра-Земля, иссякли животворные ключи — и настал конец, предел Божьему прощению.

Париж, 1921 г.

СЕСТРИЦА

По Смоленской дороге. Длинный коридор и раскрытые отделения первоклассного вагона. Блеск орехового дерева и красного бархата в полном несоответствии с солдатским людом, наполняющим вагон: рогульки костылей под торчащими плечами, серые халаты, забинтованные головы, толстые белые култышки закутанных ступней, выставленных вперед... Курят турецкий табак, едят конфеты, прилично беседуют, наслаждаясь своим необычным положением:

Она с улыбкой:

— Ну, как, Меркулов?

Солдат, вежливо приподнимаясь на костылях, на весу держа вперед култышку ноги, бесстыдно врет медовым голосом:

— Да, что ж, сестрица, терпеть надо... Всякий должен свою жертву принести... Благодарим вас...

Она заговаривает то с тем, то с другим, потом стоит у окна в коридоре. Вагон мягко пружинит, летит. Она смотрит на мелькающие за окном темные рукава елей, на стволы, идущие кругами в глубине леса, что-то чуть-чуть напевает. Белая косыночка, мягкая кожаная куртка, легкая юбка из серого тика. Тихо и греховно сияют иконописные черные глаза...

1930 г.

СОКОЛ

Иван — охотник, лодырь. Живет с краю деревни, возле погоста. Погост на косогоре, скучный: голые глинистые бугорки, взрытые свиньями, истоптанные овцами, которые до земли выглядали сухую траву между ними; над одной могилой тощая лозинка, на лозинке вниз головой висит дохлая галка, насквозь источенная муравьями; в одном голубце, рядом с фольговой иконкой, свила гнездо мухоловка... К погосту и прилегает гумно Ивана, нищее, пустое: раскрытый хребет риги, старый тележный ящик, рогатая соломорезка — и все заросло травой, бурьяном.

Когда мы шли к его избе с деревни, от нас стремглав, припадая к земле шеей, неслась его единственная наседка и с отчаянно-восклицательным криком взвилась в ее разбитое окошко. На разрушенном крыльце, как-то по-вдовьи свернувшись, лежала чернобровая собака с висячими ушами, грустно глядя на нас вкось, исподлобья.

— Иван, — спросили мы, — чем же ты ее кормишь?

Иван слегка удивился:

— Как чем? Да ничем. Это ее дело.

Перед крыльцом, на двух лопнувших колесах, рассыхалась на солнце пустая водовозка и бесцельно (видно, не зная, что делать) сидел на ее обресе сизый, с серой грудкой голубь. Иван посмотрел, усмехнулся:

— Ишь в какую визиточку нарядился!

А в избе пол был завален чем попало, — всякой добычей того памятного лета, семнадцатого года: корыта, кадушки, треногое ободранное кресло, прихотливо изогнутая рама из палисандра, где от зеркала осталась только косая половинка, полотнище пыльной гардины, цинковая детская ванна с продавленным боком, грамфонный рупор, стенные часы с одной гирей в золе возле печки, пыльная господская визитка, — все из какого-нибудь разграбленного господского имения. В избе, и без того тесной, негде было повернуться, было безобразно. И истуканом, молча сидела на лавке баба, каменная, большая, с страшными светлыми глазами — жена Ивана. Сидела, молчала и смотрела.

— Это все она натащила, — сказал Иван самодовольно. — Она у меня сокол!

1930 г.

К О Н Е Ц

I

На горе в городе был в этот промозглый зимний день тот роковой промежуток в борьбе, то безвластие, та зловещая безлюдность, когда отступают уже последние защитники и убегают последние из убегающих обывателей, но наступающий враг еще робеет и продвигается то крадучись, то порывисто, с трусливой дерзостью. Город пустел все страшнее, все безнадежнее для оставшихся в нем и мучающихся еще не полной разрешенностью своей судьбы. По окраинам, возле вокзала и на совершенно вымерших улицах возле почты и государственного банка, где на мостовых уже лежали убитые, то и дело поднимался треск, град винтовок или спешно, дробно строчил пулемет.

К вечеру из-за северной заставы началась орудийная пальба, — враг осмелел, почувствовал силу и решимость: бодро раздавался тяжкий, глухой стук, от которого вздрагивала земля, за ним великолепный, с победоносной мощью режущий воздух и звенящий звук снаряда и наконец громовый разрыв, оглушающий весь город. Потом внезапно пошла частая и беспорядочная ружейная стрельба на спусках в порт и в самом порту, все приближаясь к «Патрасу», под французским флагом стоявшему у набережной в Карантинной гавани. Откуда-то донесся быстро бегущий, тревожно и печально требующий доро-

ги рожок кареты скорой помощи... Стало жутко и на «Патрасе», — то страшное, что совершалось на горе, доходило и до него. — Что же мы стоим? — слышались голоса в толпе, наполнявшей пароход. — С ума сошли что ли французы? Нас не выпустят, нас всех перережут! — И все стали врать напрапалую, стараясь зачем-то еще более напугать и себя и других: угля, говорят, нет, команда, говорят, бунтует, матросы красный флаг хотят выкинуть... Между тем уже темнело.

Но вот, в пятом часу, выскочил наконец из-за старого здания таможни и подлетел к пароходу крытый автомобиль, — и у всех вырвался вздох облегчения: консул приехал, значит, слава Богу, сейчас отвалим. Консул, с портфелем под мышкой, выпрыгнул из автомобиля и пробежал по сходням, за ним быстро прошел офицер в желтых крагах и в короткой волчьей шубке мехом наружу, нарочито грубого и воинственного вида, и тотчас же загремела лебедка и к автомобилю стала спускаться петля каната. Все с жадным любопытством столпились к борту, уже не обращая внимания на стрельбу где-то совсем близко, автомобиль, охваченный петлей, покосился, отделился от земли и беспомощно поплыл вверх с криво повисшими, похожими на поджатые лапы колесами... Два часовых, два голубых солдата в железных касках, стояли с карабинами на плечо возле сходней. Вдруг откуда-то появился перед ними яростно запыхавшийся господин в бобровой шапке, в длинном пальто с бобровым воротником. На руках у него спокойно сидела прелестная синеглазая девочка. Господин, заметно было, повидал виды. Он был замучен, он был так худ, что пальто его, забрызганное грязью, с воротником точно зализанным, висело как на вешалке. А девочка была полненькая, хорошо и тепло одета, в белом вязаном капоре. Господин кинулся к

сходням. Солдаты было двинулись к нему, но он так неожиданно и так свирепо погрозил им пальцем, что они опешили, и он неловко вбежал на пароход.

Я стоял на рубке над кают-компанией и с бессмысленной пристальностью следил за ним. Потом так же тупо стал смотреть на туманившийся на горе город, на гавань. Темнело, орудийная, а за нею и ружейная стрельба смолкла, и в этой тишине и уже спокойно надвигающихся сумерках чувствовалось, что дело уже сделано, что город сдался, покорился, что теперь он уже вполне беззащитен от вваливающихся в него победителей, несущих с собой смерть и ужас, грабеж, надругательство, убийства, голод и лютое рабство для всех поголовно, кроме самой подлой черни. В городе не было ни одного огня, порт был пуст, — «Патрас» уходил последним. За рейдом терялась в сумрачной зимней мгле пустыня голых степных берегов. Вскоре пошел мокрый снег, и я, насквозь промерзнув за долгое стояние на рубке, побежал вниз. Мы уже двигались, — все плыло подо мною, набережная косяком отходила прочь, туманно-темная городская гора валилась назад... Потом шумно закрубилась вода из-под кормы, мы круто обогнули мол с мертвым, темным маяком, выровнялись и пошли полным ходом... Прощай Россия, бодро сказал я себе, сбегаю по трапам.

II

Пароход, конечно, уже окрестили ноевым ковчегом, — человеческое остроумие не богато. И точно, кого только не было на нем? Были крупнейшие мошенники, обремененные наживой, покинувшие город спокойно, в твердой уверенности, что им будет не плохо всюду. Были люди порядочные, но тоже пока еще спокойные, бежавшие впервые и еще не вполне

сознавшие всю важность того, что случилось. Были даже такие, что бежали совсем неожиданно для себя, что просто заразились общим бегством и сорвались с места в самую последнюю минуту, без вещей, без денег, без теплой одежды, даже без смены белья, как, например, какие-то две певички, не к месту нарядные, смеявшиеся над своим нечаянным путешествием, как над забавным приключением. Но преобладали все же настоящие беженцы, бегущие уже давно, из города в город, и наконец добежавшие до последней русской черты.

Три четверти людей, сбившихся на «Патрасе», уже испытали несметное и неправдоподобное количество всяких потерь и бед, смертельных опасностей, жутких и нелепых случайностей, мук всяческого передвижения и борьбы со всяческими препятствиями, крайнюю тяготу телесной и душевной нечистоты, усталости. Теперь, утратив последние остатки человеческого благополучия, растеряв друг друга, забыв всякое людское достоинство, жадно таща на себе последний чемодан, они сбежались к этой последней черте, под защиту счастливых, далеких от всех их страданий и потому втайне гордящихся существ, называемых французами, и эти французы позволили им укрыться от последней гибели в то утлое, тесное, что называлось «Патрасом» и что в этот зимний вечер вышло со всем своим сбродом навстречу мрачной зимней ночи, в пустоту и даль мрачного зимнего моря. Что должен был чувствовать весь этот сброд? На что могли надеяться все те, что сбились на «Патрасе», в том совершенно загадочном, что ожидало их где-то в Стамбуле, на Кипре, на Балканах? И однако каждый из них на что-то надеялся, чем-то еще жил, чему-то еще радовался и совсем не думал о том страшном морском пути в эту страшную зимнюю ночь, одной трезвой мысли о котором было бы достаточ-

но для полного ужаса и отчаяния. По милости Божьей, именно трезвости-то и не бывает у человека в наиболее роковые минуты жизни. Человек в эти минуты спасительно тупеет.

Всюду на пароходе все было загромождено вещами и затоптано грязью и снегом. Всюду была беспорядочная теснота и царило оживление табора, людей только-что спасшихся, страстно стремившихся спастись во что бы то ни стало и вот наконец добившихся своего, после всех своих мучений и страхов наконец поверивших, что они спасены, что они уже вне опасности и что они живы, — что бы там ни было впоследствии! Человек весьма охотно, даже с радостью освобождается от всяческих человеческих уз, возвращается к первобытной простоте и неустроенности, к дикому образу существования, — только позволь обстоятельства, только будь оправдание. И на «Патрасе» все чувствовали, что теперь это позволено, что теперь это можно — не стыдиться ни грязных рук, ни потных под шапками волос, ни жадной еды не во время, ни неумеренного куренья, ни разворачивания при посторонних своего скарба, нутра своей обычно сокровенной жизни.

Всюду были узлы, чемоданы и люди: и в рубке над кают-компанией, где поминутно хлопала тяжелая дверь на палубу и несло сырым ветром со снегом, и на лестнице в кают-компанию, и под лестницей, и в столовой, где воздух был уже очень испорченный. Трудно было пройти от тех нестесняющихся и опытных, предусмотрительных господ, что уже захватывали себе местечко, располагались по полу со своими постелями и семьями. Прочие, спотыкаясь на эти постели, перепрыгивая через узлы и чемоданы, наталкиваясь друг на друга, бегали с чайниками за кипятком, тащили где-то добытые, — за какие угодно деньги и чем дороже, тем радостнее! — ог-

ромные белые хлебы, торжествуя друг перед другом своей ловкостью, настойчивостью и даже бессовестностью. Столы завалили съестным, сидели за ними тесно, в шапках и калошах, поспешно ели и пили, сорили яичной скорлупой, угощали друг друга колбасой и салом, со смехом рассказывая, что вчера мужик на базаре содрал вот за этот кусок четыре тысячи «думскими», пробивали перочинными ножами брызгающие рыжим маслом жестянки... Длинный господин, явившийся на пароход последним, несколько раз пробежал по столовой с коробкой консервированного молока в руке, — где-то устроил свою девочку и хлопотал накормить ее. Вид у него был все такой же грозный и решительный, и еще заметнее было теперь, — он был без пальто, — как худа его шея, как велика бобровая шапка, как мягки и сальны длинные волосы.

III

Под лестницей была особенно гнусная теснота, образовались две нетерпеливых очереди, — одна возле нужников, в двери которых ожидающие поминутно стучали, и другая возле лакеев, раздававших красное вино, наливавших его из бочки в бутылки, кружки и чайники, с которыми толпились беженцы. Вино было даровое и потому воспользоваться им хотелось всем, даже и не пьющим. Я скорее многих других пробился к лакеям, получил целый литр и, возвратясь в столовую и пристроившись к уголку стола, стал медленно пить и курить.

Только что разнесся слух, что перед самым нашим отходом из порта было получено на «Патрасе» страшное радио: два парохода, тоже переполненные такими же, как мы, и вышедшие раньше нас на сутки, потерпели крушение из-за снежной бури — один у самого Босфора, другой у болгарских берегов. И но-

вая угроза повисла над нами, новая неопределенность — дойдем ли мы до Константинополя и, если дойдем, то когда? Ни курить, ни пить мне не хотелось; сигара была ужасная, вино холодное, лиловое. Но я сидел, пил и курил. Уже началось то напряженное ожидание, которым живешь в море при опасных переходах. «Патрас» был стар, перегружен, погода разыгрывалась с каждой минутой все круче... Большинство утешало себя тем, что мы идем быстро, уверенно. Но я, по своей морской опытности, хорошо знал, что быстрота эта только кажущаяся. Это не мы увеличивали ход, это росло волнение.

Вода уже шумно неслась вдоль наших тонких стен, все чаще и все яростнее накатывая с боков, все тяжелее стучая в стены и с плеском, шипением ссыпаясь с них. За стенами была непроглядная ночь, горами, без толку, без смысла, ходило мрачное, ледяное, зимнее море. В черные стекла ливнем летели брызги, лепило мокрым белым снегом, свистел, крепко дул ветер, холодное дыхание которого то и дело чувствовалось в дымном, жарком и уже вонючем воздухе низкой столовой, все-таки радовавшей своим светом и теплом, тем уютом, которого так первобытно жаждет человеческое сердце, еще помнящее страхи древней жизни, пещерных, свайных дней. И я тоже неосознанно радовался этому свету и теплу, сидя за своей бутылкой; слушал говор, галду своих спутников, чего-то ждал и что-то думал, — вернее, все собирался что-то обдумать и понять как следует. Стало уже упруго подымать и опускать, стало валить на-сторону, скрипеть переборками, диванами и креслами, в которых мы сидели. «Патрас» будто быстро шел среди качавшихся, расступавшихся и опять с плеском и шумом сходявшихся водяных гор, шел весь дрожа, и что-то работало внутри него все торопливее, с перебоями, с перерывами выделявая «тратта-

татата». Вдруг ветер налетел и засвистал бешено, волна ударила так тяжело и, освещенная нашим огнем, так страшно заглянула своей мутной слюдой, своей громадой в стекла, что многие вскрикнули и повалились друг на друга, думая, что мы уже гибнем... Потом все опять пришло в порядок, опять пошло с дрожью и перерывами это «траттататата», — и вдруг опять ударило и опять дико засвистало и глубоко окунуло, опустило в расступившуюся водяную пропасть... Началось! — подумал я с нелепой радостью.

Вскоре стол опустел. Большинство стонало, томилось, — с надрывом, с молящими криками извергало из себя всю душу, валялось по диванам, по полу или поспешно, падая и спотыкаясь, бежало вон из столовой. То тут, то там кого-нибудь безобразно хлестало, а выбегающие махали дверями, и сырой холод стал мешаться с кислым зловонием рвоты. Уже нельзя было ни ходить ни стоять, убежать надо было опрометью, сидеть — упираясь спиной в кресло, в стену, а ногами в стол, в чемоданы. Все так же казалось, что размахивающийся и вправо, и влево, и вверх, и вниз пароход идет с бешеной поспешностью, внутри его грохотало уже неистово, и перерывы, отдыхи в этом грохоте казались мгновениями счастья... А на верху был суший ад. Я допил вино, докурил сигару и, падая во все стороны, побрел в рубку. Я одолел лестницу и пробовал одолеть дверь наружу, выглянуть — ледяной ветер перехватывал дыхание, резал глаза, слепил снегом, с звериной яростью валил назад... Обмерзлые, побелевшие мачты и снасти ревели и свистали с остервенелой тоской и удалью, студенистые холмы волн перекатывались через палубу и опять, опять росли из-за борта и страшно светились взмыленной пеной в черноте ночи и моря... Крепко прохваченный холодом и морской свежестью, я насилиу добрался назад до столовой, потом до своей

каюты, по некоторым причинам предоставленной в мое распоряжение. Там было темно и все скрипело, возилось, точно что-то живое, борющееся. Проклятый корабельный пол, косой, предательский, зыбко уходил из-под ног. И, когда он уходил особенно глубоко, в стену особенно тяжело ударяла громада воды, все старавшаяся одним махом сокрушить и захлестнуть «Патрас». Но «Патрас» только глубоко нырял под этим ударом и снова пружинил наружу, где на него обрушивался новый враг — налетал ураган со снегом, насквозь пронзавший мокрые стены своим ледяным свистящим дыханием...

IV

И не раздеваясь, — раздеться было никак нельзя, того гляди расшибет об стену, об умывальник, да и слишком было холодно, — я нащупал нижнюю койку и, улучив удобную минуту, ловко повалился на нее. Все ходило, качалось, дурманило. Бухало в задраенный иллюминатор, с шумом стекало и бурлило — противно, как в каком-то чудовищном чреве. И, понемногу пьянея, отдаваясь все безвольнее в полную власть всего этого, я стал то задремывать, то внезапно просыпаться от особенно бешеных размахов и хвататься за койку, чтобы не вылететь из нее. Труба в рукомойнике, его сточная дыра гудела, гудела — и вдруг начинала булькать, реветь и захлебываться... Ах, встать бы, заткнуть чем-нибудь это анафемское горло! Но не было воли даже приподняться, как ни готовился я вот-вот решиться на это. И потекли часы за часами, и стало казаться, что уже никогда не минет эта мука качания, эта ночь, этот мрак, завывание, шум, плеск, шипение и все новые и новые удары то и дело налетающих откуда-то из страшной водной беспредельности волн...

В полусне, в забытии я что-то думал, что-то вспоминал... Пришло в голову и стало повторяться, баюкать:

Гром и шум, корабль качает,
Море Черное шумит...

— Как дальше? — в полусне спрашивал я себя. — Ах, да!

Снится мне — я свеж и молод...
От зари роскошный холод
Проникает в сад...

Как все это далеко и ненужно теперь! Так только, грустно немного, жаль себя и еще чего-то, а за всем тем — Бог с ним! И опять повторялись стихи и опять путались, опять клонило в сон, в дурман, и опять все лезло куда-то вверх, скрипело, боролось — и все лишь затем, чтобы опять неожиданно разрешиться срывом, а за ним новым пружинным подъемом и новым шипением бурлящей, стекающей воды и пахучим холодом завывающего ветра и kloко-чушим ревом захлебывающегося умывальника... Вдруг я совсем очнулся, вдруг меня озарило: да, так вот оно что — я в Черном море, я на чужом пароходе, я зачем-то плыву в Константинополь, России — конец, да и всему, всей моей прежней жизни тоже конец, даже если и случится чудо и мы не погибнем в этой злой и ледяной пучине! Только как же это я не понимал, не понял этого раньше?

Париж, 1921 г.

ПОД СЕРПОМ И МОЛОТОМ

Из записей неизвестного

Этого старичка я узнал прошлой зимой, еще при начале царствия Ленина. Эта зима была, кажется, особенно страшна. Тиф, холод, голод... Дикая, глухая Москва тонула в таких снегах, что никто не выходил из дому без самой крайней нужды.

Я искал его по одному делу. Узнал наконец, что он обитает в том же доме, где было прежде некоторое государственное учреждение, при котором состоял он. Теперь этот громадный дом пуст и мертв. Я вошел в широкие раскрытые ворота и остановился, не зная, куда идти дальше. Но, по счастью, за мной вошел какой-то мальчишка, который что-то нес с собой. Оказалось, что мальчишка идет как раз к старичку, несет ему пшенной каши: старичок питался только тем, что присылал ему иногда, по старой дружбе, отец мальчишки. Пошли вместе, вошли в подвальный этаж дома, долго шли по какому-то подzemелью, постучали в маленькую дверку. Она открылась в низок под каменным сводом. В низке было очень жарко: посреди стояла железная печка, до красна раскаленная. Старичок поднялся мне навстречу на растоптанных, трясущихся ногах и сказал нечто странное теперь для слуха: «Имею честь кланяться, Борис Петрович!» Выцветшие, слезящиеся глаза, серые бакенбарды; давно небритый подбородок зарос густо, молочно. Весь низок сплошь увешен яркими

лубочными картинами — святые, истязуемые мученики, блаженные и юродивые, виды монастырей, скитов; целый угол занят большим киотом с блестящими золотыми образами, перед которыми разноцветно теплятся лампадки — зеленые, малиновые, голубые. Запах лампадного масла, кипариса, воска и жар от печки нестерпимые.

— Да-с, тепло! — сказал, грустно усмехаясь, старичок. — Не в пример всей Москве, на холод не пожалуюсь. Всеми, слава Богу, забыт, даже почти никто и не подозревает, что я здесь уцелел. Не знает никто и про тот тайный запас дровец, что остался здесь в некотором подвальчике. Здесь, даст Бог, вскорости и окончу свое земное существование. Очень стал хил и печалюсь. Времена опять зашли темные, жестокие и, думаю, надолго. Как волка ни корми, он все в лес смотрит. Так и Россия: вся наша история — шаг вперед, два назад, к своему исконному — к дикому мужичеству, к разбитому корыту, к лыковому лаптю. Помните? «Было столь загажено в кремлевских палатах колодниками, что темнели на иконах ризы...» Таковыми палатами стала снова Россия. Нынешние правители ее еще дают до поры до времени полную волю народу, его зверству и безобразию, и народ пользуется этой волей, губительной для него-же самого. Оправдывается слово Исаака Сирина: *«Пес, лижущий пилу, пьет собственную кровь и из-за сладости крови своей не сознает вреда себе...»* Впрочем, все это вам и без меня хорошо известно. Перейдемте к делу: весь к вашим услугам, но чем именно могу служить?

... Весной он умер. В одно из наших последних свиданий он говорил мне:

— Знаете ли вы это чудное сказание? Забежала шакалка в пещеру Иоанна Многострадального и разбила его светильник, стоявший у входа. Святой, сидя

ночью на полу темной пещеры, горько плакал, закрывшись руками: как, мол, совершать теперь чин ночной молитвы, чтения? Когда же поднял лицо, утираясь рукавом, то увидел, что озаряет пещеру некий тонкий, неведомо откуда струящийся свет. И так с тех пор и светил он ему по ночам — до самой его кончины. А при кончине, воспринимая его душу, нежно сказал ему Ангел Господень: «Это свет твоей скорби светил тебе, Иоанн!»

1930 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА	7
-----------------	---

I

ВЕСНОЙ, В ИУДЕЕ	13
ПРОРОК ОССИЯ	19
ГОСПОДИН ПОРОГОВ	20
“UN PETIT ACCIDENT”	21
В АЛЬПАХ	22
ЛЕГЕНДА	23
НОЧЛЕГ	24
«В ТАКУЮ НОЧЬ»	33
ТРИ РУБЛЯ	36
ПАМЯТНЫЙ БАЛ	42
АЛУПКА	47
ПОЛУДЕННЫЙ ЖАР	50
ЛОВЧИЙ	55
«ОСТРОВ СИРЕН»	63
ТРЕТИЙ КЛАСС	71
МОЛОДОСТЬ И СТАРОСТЬ	74

ЖИЛЕТ ПАНА МИХОЛЬСКОГО	79
ВОЗВРАЩАЯСЬ В РИМ	84
ИСКУШЕНИЕ	87
NEL MEZZO	89
НОЧЬ	90
МИСТРАЛЬ	91
БЕРНАР	94

II

РОЗА ИЕРИХОНА	99
СКАРАБЕИ	101
ПРЕКРАСНЕЙШАЯ СОЛНЦА	103
ТЕМИР-АКСАК-ХАН	109
УЩЕЛЬЕ	113
ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ	114
ГОТАМИ	121
КАЗИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ	125
РОМАН ГОРБУНА	135
СЛОН	137
ИДОЛ	139
ТЕЛЯЧЬЯ ГОЛОВКА	141
ПИНГВИНЫ	143
БЕЗУМНЫЙ ХУДОЖНИК	145
СНЫ ЧАНГА	158
ЛИРНИК РОДИОН	177
ЖЕРТВА	186
СЛЕЗЫ	191
МАРЬЯ	192
ПОЖАР	193

РУСЬ	194
ЖУРАВЛИ	196
НА БАЗАРНОЙ	198
СТРАШНЫЙ РАССКАЗ	200
УБИЙЦА	203
ПОРУГАНЫЙ СПАС	204
СВЯТИТЕЛЬ	206
КОСЦЫ	208
СЕСТРИЦА	214
СОКОЛ	215
КОНЕЦ	217
ПОД СЕРПОМ И МОЛОТОМ	227

Printed in U. S. A.
WALDON PRESS,
203 Wooster Street,
New York 12, N. Y.

Цена: \$2.00

